

Цесаревна

Автор:

Петр Краснов

Цесаревна

Петр Николаевич Краснов

Романовы. Венценосная семья

Повествование начинается с истории молодого казака, гарного хлопца Алексея Розума, волей случая попавшего из затерянной в малороссийских степях станицы в стольный град Санкт-Петербург. Именно ему, пока еще юному и неопытному, впоследствии предстоит стать всемогущим графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, фаворитом, верным другом и сподвижником императрицы Елизаветы Петровны. А пока он мчится в Санкт-Петербург, где юная цесаревна Елизавета наслаждается жизнью и занимается своими девическими делами, в промежутках между ними обдумывая общественно-политическую ситуацию. Россия переживает смутное и тяжелое время правления императрицы Анны Иоанновны, период жесточайших дворцовых интриг, засилья инородцев на высших государственных постах, в воздухе витает всеобщее недовольство и возмущение, свирепствует Тайная канцелярия, но не дремлет и старая петровская гвардия – семеновцы и преображенцы, в чьих рядах жива еще память о прекрасном времени силы и могущества России. И надежда у них одна – на «солдатскую дочь», «искру Петра Великого» цесаревну Елизавету.

Роман «Цесаревна» – это пронзительно-нежное и в то же время жесткое повествование о судьбе великой русской императрицы, дочери Петра Первого Елизавете.

Петр Краснов

Цесаревна

© Краснов П.Н., наследники, 2013

© ООО «Издательство «Вече», 2013

* * *

Часть первая

I

[1 - Текст печатается по изданию: Краснов П.Н. Цесаревна: роман. Париж: Изд. Е. Сияльской, 1933.]

В Конотопе верховых и вьючных лошадей оставили. Дальше, до самой Москвы, шел ямской тракт, и полковник Федор Степанович Вишневецкий подрядил телегу по казенной подорожной. Он ездил в Венгрию покупать вина для императрицы Анны Иоанновны и, отправив покупку обозом за надежным бережением, сам спешил в Петербург.

Алеша вышел на крыльцо и долго смотрел, как реестровый казак с пятью заводными лошадьми трусил по обратной дороге. Был прохладный полдень, и уже пахло весною. Земля на солнце оттаяла и просохла. Белая пыль поднималась за лошадьми, и в ней, как в тумане, горел неярким пламенем алый тумак черкесской шапки казака. Висячие рукава кунтуша мотались за спиной, как крылья, и с дома с самого детства знакомые и точно родные лошади спешили покорной ходой. Серко бежал сбоку, и Алеше долго были видны высокие луки, обтянутые алым сафьяном полковничьего седла.

На деревянном крыльце, на щелястом полу с глубокими темными морщинами плохо оструганных досок, лежали пестрые ковровые хуржины – переметные сумы с домашней провизией. Темное горлышко толстой, пузатой сулеи с токайским вином – счастливый покупатель себя не забыл – торчало из крайней сумы. В хуржинах – Алеша их укладывал с матерью – лежали коржики сладкие, на меду, домашние сухари, что напекла и засушила ему на дорогу, – «аж до самого Сам-Питербурха чтобы хватило» – мачка Наталья Демьяновна. Громадный кусок сала, ветчина и колбасы – деревенская снедь в мокрых холщовых тряпицах наполняли сумы. Алеша долго смотрел, как серел и голубел, уменьшаясь, точно тая в воздухе, казак с родного хутора Лемеша, и с ним серело и таяло, исчезая в небытие, и его прошлое. И сейчас – будто кто-то совсем другой, незнакомый и чужой, стоял на крыльце ямской избы, над которой свешивали воздушные нити тонких ветвей еще голые акации.

Было грустно. Точно снились – поднимались воспоминания нерадостного и невеселого детства.

Пригонит Алеша к вечеру общественное лемешское стадо и, голодный, обгорелый на толоке, пропахший скотиной и полынной горечью степных трав, с длинным бичом на плече войдет в хату, снимет рваную шапчонку и станет креститься на темные лики икон, на толстый дубовый сволок, где славянскими буквами, под титлами вырезана надпись: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына». Здесь был вырезан крест: «Содействием Святого Духа создася дом сей рабы Божией Натальи Розумихи. Року 1711 мая 5 дня». Помолившись, ждет от отца приглашения вечерять.

За столом, на лавке, сидит отец и с ним человек пять соседей-казаков. Все уже пьяны достаточно. Оловянные стаканы с брагой то и дело осушаются. Отец, кивая красной, в седых кудрях головой и расправляя длинный ус, рассказывает – в который уже раз! – о своих доблестях и невзгодах.

– Та я ж, – кричит он, стуча стаканом по столу, – с великой охотой вси козацкие против татар и протчих неприятелей отправлял походы!.. Ох!.. – щелкает он себя по высокому и красивому лбу. – Гей! Що то за голова, що то за розум!.. Но... нема хвартуны... Вишь, бидолага! Ради частых нечаемых, ово от неприятелей, ово от междуусобных разорений все знищало... А то!.. Гей, хлопцы! Що то за голова, що то за розум!..

С этой отцовской поговорки Алешу и все их семейство прозвали на хуторе Розумами.

Теперь казалось Алеше, что тогда устало сидел в углу, на лавке в хате, пил молоко, прислушиваясь к пьяной болтовне отца, совсем и не он, а какой-то маленький и жалкий пастушок, ничего общего не имевший со статным молодцом, что стоит сейчас на крыльце ямской избы в Конотопе и что едет с паном полковником в Санкт-Петербург.

Вспоминает Алеша, как он тайком от отца ходил к дьячку села Чемер учиться грамоте и церковному пению. Отец узнал об этом и, – тоже точно и не наяву это было, но только приснилось, – пьяный гонялся за ним, а он в смертельном испуге убегал от отца, кружа около хаты. Отец настигал его. Он проскочил под ворота, а отец вслед ему пустил с такой силой топор, что он глубоко врезался в доски ворот... После этого Алеша бежал из отцовского дома и поселился у дьячка. Здесь познал он сладость науки и прелесть гармонии пения.

И вот совсем недавно, в начале января, – как хорошо запомнился этот день Алеше, а тоже и не поймет совсем, во сне это ему снилось или точно так было, – в этом самом сером чекменике пришел он домой, к матери. И видит... Совсем сон... В маленькие окна светит яркое, утреннее солнце. И от того ли, что небо было какое-то особенно голубое, или от чего-то другого – вся хата точно золотисто-голубой дымкою наполнена. В ней совсем не похожая на себя на лавке сидит Наталья Демьяновна. Ее широкое, белое лицо восторженно улыбается чему-то далекому, ею одной зримому.

– А знаешь, сынку, – говорит она, и ее голос не похож на обычный голос, – что мне нонче приснилось. Вхожу будто в хату, а в ней на потолке, о чуде! светят солнце, месяц и звезды. И чего николи не бывает – все разом. Я потом и сказала о том соседям, а те посмеялись надо мной... А я, сынку, правда ж – так явственно: солнце, месяц-звезды... Чаю, не к худу... солнышко видеть во сне?..

Как запомнилось это почему-то Алеше? Потому ли, что недавно это было, потому ли, что уже совсем тогда необычной показалась ему мачка, и освещение в хате было такое, что впору только присниться, но и сейчас точно снова видит: свет голубой в хате, совсем особенный, небывалый. Солнце бросает квадратные золотые отблески на белый глиняный пол, пахнет сухими травами, и в этом

свете, в этом запахе – мать восторженная, восхищенная своим необыкновенным сном.

– Солнце, месяц и звезды – все вместе!.. И ты пришел!.. Да не про тебя ли, Алеша, я сон тот видала?

В золотисто-голубом дыму родная, и глаза блестят, точно отразили, затаили и сохранили во сне виденные светила.

Три дня спустя проезжал через село Чемер полковник Федор Степанович Вишневский. Был праздничный день, и в чистую, приветливую сельскую церковь прошел пан полковник. Он стоял впереди всех в парадном, золотом шитом жупане, горделиво опирался на саблю, отставлял ногу в широких, малинового бархата шароварах и наклонял чубатую голову, слушая пение хора. С клироса неся чистый, точно прозрачный, звенящий тенор и брал за самую душу умилительными звуками, настраивая молитвенно. Когда кончили службу, полковник не вышел с народом, но подождал и попросил к себе дьячка с клироса.

– А кто у тебя тенором так знатно пел? – спросил он, расправляя длинный ус.

– То Алексей Розум, пан полковник, – отвечал дьячок.

– Знатно пел... Очень даже правдоподобно... А ну, покажи мне того Розума, дай посмотрю, что за чоловик.

Перед полковником предстал высокий, стройный двадцатидвухлетний парубок. Смугловато было загорелое лицо. Под размахом густых черных бровей из-за решетки длинных, по-детски загнутых кверху ресниц притушенным огнем горели прекрасные, глубокие темные глаза.

Полковник внимательно с ног до головы осмотрел парубка, крякнул от удовольствия и сказал:

– Да такому молодцу в Санкт-Петербурге петь. А ну, вот що, везите меня к родителям молодца, покумекаем с ними. Может, чего и надумаем.

Так только во сне бывает, вдруг в миг один, в мновение очей вся жизнь перевернулась для Алеши, и прошлое стало сном, а будущее манило куда-то в полную тайны неизвестность.

Пьяный отец бил крепко по рукам полковника, точно лошадь ему продавал, и, тыкая Алешу в грудь, кричал:

– Ты посмотри на него! Гей! Що то за голова, що то за розум!

Мать, не осушая залитых слезами разлуки с сыном глаз, пекла и жарила на дороге. А потом ранним утром хлопцы на дворе седлали и выючили коней и – айда!.. понеслись кони широкой ходой через сады и левады, через поля и луга в степь, к глубоким весенним бродам, к паромам через широкие и быстрые реки, в далекую зовущую даль.

Все прошлое исчезло, растаяло, как дым, улеглось, как дорожная пыль. Впереди, как эта бесконечная дорога, расстилалась жизнь, и в ней: все от Бога, все через Бога! Каждая былинка, каждый камушек, деревцо, придорожная роща – все зовет, все сулит нечто новое. Кто знает – счастье, нет ли?..

– Все равно нечто новое, – с детства усвоил Алеша, – хоть гирше, да иныше!..

Ямщик подал телегу. Тройка сухих гнедых подняла пыль. Под широкой расписной дугой побрякивал колокольчик, бубенцы-глухари незвонко щелкали. Длинные оси были густо намазаны в синь ударяющим дегтем. Вишневский вышел из хаты. Алеша накладывал на телегу хуржины, закутывал их в душистое полынное, степовое сено, подкладывал подушки.

Все было так ново для Алеши. И быстрая езда от стана до стана, и ямские избы, около которых часто стояли шинки, царевы кружала, с зеленой елкой над крыльцом, где была истоптана земля конскими копытами и густо занавожена и где терпко пахло жильем и постоем.

Там после грохота скачущей по выбитой дороге телеги, после немолчного звона колокольцев и бубенцов, покрика ямщика, толчков на выбоинах и колдобинах, когда Алеша цеплялся руками за грядки, – такой прекрасной, полной покоя

казалась точно живая, чарующая и медлительная тишина. Кругом – покой широкой степи, уснувшие, опустившие нежные весенние листья вербы у колодца и сонные голоса ямского комиссара и ямщиков. И кажется, неслышно бьется сердце, точно и оно остановилось на отдых, на станцию, на перепряжку.

День перевалил за полдень. Длинными стали синие тени. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и точно ладаном. В черной растоптанной грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнят долбленную колоду, журавель со скрипом опускался в глубину и долго и медленно тянул тяжелое ведро. Лошади в сбруе пили жадно, поводя боками. Ямщик посвистывал и лениво переговаривался с бабой, принесшей ему хлеб и сыр, завернутый в тряпицу, с крыльца комиссар в мундирном кафтане говорил хриплым, непроснувшимся голосом:

– Обрато поедешь, завезешь письмо помещице Олтабасовой.

Ямщик, не глядя на смотрителя, глухо, рывком отвечал:

– Понимаю.

Вишневский в хате пил токайское и закусывал печеными яйцами и таранью. Этой тарани, до боли в языке соленной, и копченого сала до отвала наелся Алеша, и ему хотелось прильнуть вместе с лошадьми к колоде, куда с холодным, дремотным журчаньем выливалась из бадьи вода, и пить, вложив полные губы в самую влагу.

Из-за угла неожиданно появился сбитенщик. Он был в валенках, в рваном полушубке, к которому был привьючен большой медный куб с длинным краном, закутанный в тряпье.

Полковник из окна крикнул Алеше:

– Розум, напейся сбитенька... Возьми на пол-алтына.

Сбитенщик с пояса снял глиняную кружку, ополоснул ее горячей водой, и золотистый сбитень, пахнувший медом и мятой, дымясь паром, журча полился из

крана в кружку. К сбитню подана пара баранок. И, боже, каким нектаром, каким благодатным напитком кажется Алеше эта кружка горячего сбитня!

Только допил – уже телега запряжена и стоит у крыльца, полковник, отдуваясь винным духом и потягиваясь с хрустом в сухих суставах, появляется на крыльце. Садятся, закрываются от пыли холстом.

– Ну, гони, что ли, ямщик!

Дальше, дальше разворачивается дорога-жизнь, путь-дорога дальняя... В полдень уехали из Конотопа, а к ночи незаметно отмахали восемьдесят верст, и все было уже совсем не похожее на то, что было в Малороссии.

Синяя степь, балки, поросшие мелким дубняком и боярышником и темными кустами терновника, на южных скатах начинающего зацветать восковым цветом, розовые кусты тюльпанов на лобках холмов остались позади и вправо. Сегодня еще проезжали мимо белых глиняных малороссийских мазанок с высокими и крутыми соломенными крышами, с вишневыми садочками, кое-где начинающими опускаться нежным белым цветом, мимо высоких распятий, окруженных кряжистыми дубами с черными голыми ветвями, простертыми в разные стороны, мимо серых левад из ясеней и серебристых тополей, мимо ставцев с сухими, желтыми, прошлогодними камышами, с чмокающими в тине карасями и ноздревато-серым, в скотских следах, спуском водопоя, мимо так похожего на Лемеша хутора, где дивчины в расшитых рубашках с крепкими ногами, обернутыми шерстяными плахами, и парни в смушковых шапках и в белых холщовых шароварах, замазанных дегтем, как две капли воды походили на лемешских обывателей, а завтра с утра потянулся дремучий бор. Толстые дубы тесно придвинулись к узкой дороге – куда же ей до широкого малороссийского, степного шляха! – осины трепетали молодыми листьями, и Алеша знал, что потому так трепещет и словно дрожит осина, что на ней Иуда, предавший Христа, удавился. В темной дремучей глубине, точно волосы гигантов деревьев, висели увядшие плети ежевики и плюща, сухой бурелом, поросший зелено-серым мхом, лежал в глубине, и желто-коричневый прошлогодний папоротник в своей непролазной гуще словно таил что-то страшное. Уж не медведь ли там был?

Вишневский достал из деревянного футляра пистолеты – ходила в народе молва: в этом лесу «гуляют».

В тесном проезде дороги, заросшей белыми анемонами, куда до самой колеи добежали молодые березки и темные косматые можжевельники, глухо и таинственно позванивали бубенцы. Шагов на полтора тянулась узкая темная лужа. Ямщик придержал лошадей, и они вошли в нее, осторожно ступая, опустив головы к самой воде, точно стараясь измерить ее глубину.

Крупными алмазами летели брызги из-под копыт, колеса с прозрачным тихим журчанием раздвигали воду, железные обода стали серебристо-белыми, грязь и пыль сползли с дубовых спиц. Покряхтывал, покачиваясь на глубинах, кузов телеги, передние колеса ушли совсем в воду, лошади крепко били по мокрым крупам туго подвязанными хвостами. Ямщик обернул щербатое, в рыжих оспинах лицо и сказал, тыча в лес кнутовищем:

– Вот тут они и нападают. Потому куда ты подашься?.. Глыбко и перевернуться на колдобине очень даже просто.

Алеша большими, черными глазами в длинных ресницах пытливо оглядывал лес. Жутко и сладко было у него на сердце.

«А ну нападут? – думал он. – Что же, и пускай нападут... А полковник их из пистолета, а я кулаками», – он сжимал красивую, крупную руку с длинными пальцами и морщил брови.

Полковник сбоку поглядывал на него и улыбался в темный ус.

– А и хорош ты, Алеша, – сказал полковник. – В деревне родился, а любой петиметр тебе позавидует – так ты прекрасен. Сколь прекрасна в тебе и богата порода!

Эти слова были непонятны и раздражали Алешу. Не девка же он! Он сильнее хмурил красивые брови и становился еще лучше в дикой, волнующей, первобытной и яркой своей красе.

За лесом, в жалких полях, показалась деревня. Лошадей меняли у въезжей избы, и пока перепрягали, Алеша дивился, как могут так жить люди. В низкой горнице было темно. Узкое окно было затянуто пузырем. Почти всю горницу занимала широкая печь. На ее лежанке, на грязном и смрадном тряпье копошились люди, ребенок плакал в зыбке, подвешанной к жерди, маленький еще, на шатких ногах теленок топтался подле, квочка неподвижно сидела в гнезде, и тут же возились дети в рваных рубашонках – все жило вместе в жидкой и вонючей грязи земляного пола. Полковник не входил в избу, Алеша брезгливо осматривал ее бедное и жалкое убранство. Хозяина не было, лошадей привела хозяйка, за ямщика сел парнишка лет десяти, без шапки, бледнолицый, беловолосый и грязный.

Точно в другое какое государство попали.

«Москали», – думал Алеша, с жалостной жутью посматривая на деревни, которые им попадались. Бедны и унылы были они. Крошечные, криво срубленные избы были одна, как другая – всех поравняла бедность. Они точно вросли в землю. Крупные, прокопченные дымом, они не походили на постоянные жилища людей. Алеше казалось, что стоят они с очень давних времен, с тех времен, о которых Алеша читал в Библии, или с тех, когда нападали на Русь татары. Этих времен не помнит ни отец, ни дед Алеши. И не было садов. Редко где покажется голая топыркая яблоня с бледной, бархатистой зеленью розоватых почек, да на погосте над темными покосившимися крестами несколько плакучих берез свесили к могилам тонкое кружево голых ветвей.

Вдруг увидел Алеша за деревней толпы людей. За темным садом, окруженным высоким частоколом, черный, замшиевший, с волоковыми узкими окнами, с крутой, ободранной тесовой крышей, с обвалившейся прогнившей резьбой, необитаемый догнивал боярский терем. Народ подле копал пруд, и за стройными прямыми аллеями молодых, недавно посаженных деревьев, в лесах стоял новый, причудливо выстроенный, низкий и длинный, одноэтажный дом. В окнах блистали стекла, оранжереи и парники отражали солнечный свет.

Через толпы рабочего народа ехали шагом. Алеша видел, как мужик в коричневом азяме стал на четвереньки, на спину ему положили план, и немец большим циркулем размечал по нему. От толпы отделился человек в старом, потрепанном солдатском кафтане и треугольной черной шляпе. Он, широко шагая и размашисто по-солдатски махая руками, подошел к телеге и, скинув с головы шляпу, сказал:

– Дозвольте, ваше благородие, просить милости подвезти меня до деревни Собакиной. Аз есмь ефрейтор Ладожского полка Семен Мурлыкин.

– Садись, – сказал Вишневский. – С здешних мест?..

– Господ Забелиных бывший крепостной.

– Все строитесь?

– И не приведи Бог, чего замышляем, – усаживаясь лицом к Алеше и Вишневскому и спиной к лошадям, сказал Мурлыкин. На его худощавом, темном, скуластом лице, в самых углах губ чуть скользнула насмешливая улыбка. – Вишь, новую какую Расею немцы строят. Господам – хоромы, а рабам – могилы... Да что, ваше благородие... Я сам походы ламывал, фельдмаршала Минихова, вот как тебя зараз вижу, видал. Ему что! Русские люди для него прах!.. Вы шли мы, знашь, в степь пустую, и стал тот Минихов расейских людей перебирать, штаб- и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, а самых старых и заслуженных полковников перед фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, понимать, у офицера галстух не белый или что сам он, знашь, не напудренный, а в степи, сам понимать, кому на это смотреть?.. Петра Великого законы стали уничтожать – сам понимать, какое это дело выходит!.. Провианту у нас ничего уже не стало. Люди стали ослабевать и с голоду помирать. Минихов ни на что не смотрит. Хотя мертвых старых солдат перед собой видит, никогда никого не пожалел, ибо не его то крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в свойстве даже не имеет, так чего же их жалеть!..

– Ты что же, беглый?..

Мурлыкин точно обиделся:

– Зачем?.. Ничего я не беглый! Вот и ярлыки есть при мне. Послан я от полка за сапожным товаром.

Он небрежно сплюнул и, показывая на блиставшие на солнце стеклами хоромы, продолжал:

– Все строимся... Один Минихов плантов сколько перечертил – страсть! Граф Биронов, слышали?.. В Питербурхе конскую школу поставил, ну чисто храм Божий, удивлению подобно. Граф Растреляев строил, из Италии, сказывали, выписали нарочно такого доку. Ныне в Питербурхе – лошади, да что лошади... канарейке, чижу несчастному какому, скворцу, снегирю куды занятнее живется, чем крепостному православному человеку. Потому одно слово – немцы!.. Им губить русского человека надобно. У своих я побывал – аж даже тошно стало! Чистый ад! Отец с матерью на постройках, а детишки малые со скотом валяются, не кормленные, в грязи да в коросте!.. С двух концов Расею жгут!.. Ну да!.. Недолго им осталось пановать да мордовать над нами!

– Что недолго? – спросил Вишневский.

– Да что!.. Сам понимать, растет у нас, – солдат подмигнул полковнику, – понимать кто?.. Дочка евоная!.. Наша солдатская дочка!

– Ты, Мурлыкин, ты того, зря не болтай. Ты меня разве знаешь, кто я?..

– Вижу. Козацкий полковник. Вы, ваше благородие, сами лучше меня понимаете, о чем речь веду.

Мурлыкин стиснул зубы, крепкие желваки гневом заиграли на его скулах, лицо стало бледным от злобы. Он крепко сжал черные, зачугунелые на солнце и морозе кулаки и злобно сказал:

– Не владать немцам Россией! Ни во веки веков! Вот так по самое горло ухватят – все одно выскользнем. Растет у нас Богом данная полтавской победы дочка, искра Петра Великого, цесаревна Елизавета Петровна!.. Вот когда стройка-то пойдет!.. По-вчерашнему, по-петровскому!

Неожиданно, ловким оборотом Мурлыкин прыгнул с телеги и побежал по проселку к черневшей на бугре курными маленькими избами деревушке.

– Спасибо, – крикнул он, взмахнув солдатским треухом. – Вот оно и Собакино!

– Що за чоловик?.. – спросил Алеша у Вишневского. – Що он такое говорит?

– Что за человек, – сказал, потягиваясь, полковник, – беглый солдат. Мало их, думаешь, по России-то бродит да языком зря звонит. Попадется – узнает зеленую улицу. Забьют его шомполами.

Чем дальше ехали, чем ближе были к Москве, тем чаще видели стройку новых помещичьих гнезд. Старая Россия, с ее деревянными, веками стоявшими, кондовыми хоромами, исчезала, точно змея меняя свою шкуру. Повсюду появлялись новые и часто каменные дома немецкой или голландской стройки. На смену тенистым старым беззатейливым садам разбивали новые парки с кругло постриженными молодыми деревцами, копали пруды, ставили беседки и павильоны. Везде распоряжался выписной из-за границы немец или итальянец, ученик большого мастера. Землю размечали по планам, по дорогам ставили верстовые столбы, камнем мостили дороги у въезда в города и городские улицы.

Точно распахнул Петр Великий окно в Европу – и вот она сама жужжащими надоедливymi осенними мухами понеслась, полетела в Россию. Все это новое и по-своему прекрасное было только для дворян и помещиков. Рядом столько что отстроенными в немецком стиле хоромами, окруженными садом со стриженными фигурами, буксовыми кустами с подражанием Версалью, с гипсовыми статуями и мраморными урнами – таким же беспорядочным лохматым стадом разбегались низкие курные, черные избы, вросшие в землю по самые окна, накрытые шапками ржавой старой соломы. Такая же в них была грязь и вонь, так же вместе с телятами и поросятами валялись дети. Удивился Алеша, как не помрут они все в этой тесноте, духоте и вонь? Люди здесь были другие, чем в их Черниговской округе. Маленькие, кривоногие, кособокие, обросшие до самых глаз бородами, грязные и неприветливые... Настоящие москали!.. Шли дни, то в дороге, то в избе в ожидании лошадей, или на реке, где ждали, когда спадет вода и можно будет переехать вброд, или когда подадут паром, то журчали колеса по пыльной дороге, лошади бежали спорой набеганной рысью, и немолчно звенел, заливался колокольчик. А потом точно время останавливалось. Сонная деревня. Долгое ожидание лошадей, терпеливое, тихое и дремотное. Сколько бродов проехали, сколько рек переплыли на паромах, сколько деревень и лесов миновали – и не упомнит Алеша.

Вдруг пошли богатые села, с тесом крытыми домами. Появились рослые и красивые мужики, бабы в цветных сарафанах, сады у домов, церкви с синими и зелеными куполами – довольство, веселье брызнет с них, как дождь в жаркую пору. И снова пустыри, дремучие леса, пески, поросшие пыльным вереском, курные, темные избы, ржавые болота, тощая кляча с трудом волочит тяжелую

соху по кочковатой неплодородной почве. Россия показала Алеше свое лицо, и как переменчиво было оно! То, старое и голодное, кривилось оно в злобную гримасу, то улыбалось широко и радушно.

Чаще стали попадаться богатые села, красивые поместья, зеленые сады, веселый и развязный народ.

Москва была не за горами.

Весенний надвигался вечер. Солнце опускалось к недалекому темному лесу. От лошадей бежали смешные тени. Ноги у них были длинные и тонкие, они мерили землю, как циркулем мерил план на стройке тот немец, которого видал Алеша. После теплого дня быстро свежело, и затаившие в дневной жар свои ароматы цветы благоухали кругом. С крутого зеленого холма дорога спускалась в широкую луговину и шла через редкую прозрачную березовую рощу. Через низкую траву просвечивал зеленый мох, и в нем нежными изумрудно-зелеными кустиками поднимались ландыши. Белые струйки воздушных резных колокольчиков робко поднимались из длинных острых листов. Их чистый аромат сливался с запахом березовой почки и был так обаятелен, что пан Вишневский глубоко потянул носом, тронул ящика за плечо и сказал:

– А ну-ка, братец, шажком. Уж больно дивно хорошо.

Колеса шуршали по песку. В роще наперебой, прощаясь с солнцем, пели зяблики и малиновки, и неподалеку соловей, пробуя голос, пускал первые робкие прерывистые трели.

Съехали с холма. Поехали по широкой дороге, в четыре ряда обсаженной березами с нежной прозрачной зеленью. За ними на холме показались высокие терема в густых садах. Окна пламенели на солнце. Золотые купола церкви блистали, под ними чинными рядами стояли избы большого богатого села, от него черными линейками огороды спускались к дороге и лугу. За дорогой был пруд в зацветающей черемухе, в тонких и нежных рябинах, в синеватой дымке плакучих ив. Пруд розовел, отражая закатное небо. Меж берез высокие столбы качелей стояли. Раскачивались на тонких прутах широкие доски, накрытые цветными коврами. Подле в затейливом хороводе сходились и расходились пестро одетые парни и девушки. К небу взлетали с мерным скрипом качели. У девушек, стоявших на краю досок, ветром вздымало юбки сарафанов, обнажая

ноги. В лад взмахам качелей раздавалось хоровое пение. Пели нечто веселое, и Алеше, воспитанному на строгом церковном, «знаменном» распеве и на задумчиво-грустных малороссийских песнях-думах, казалось, что пели что-то срамное.

Телега въезжала на гулянку. Ясны стали четко отбиваемые слова:

Если в бане пару мало,
В камень воду льют,
Чтобы пару больше стало,
Значит... – поддают...

«Випп-вупп», – скрипели качели. В самую небесную высь летели веселые девушки. В кустах кто-то играл на флейте. Звонкий смех и визги глушили пение.

Девушка в голубом сарафане проскользнула, держась за жерди, по доске и в тот миг, когда доска проносилась над землей, спрыгнула с нее, едва коснувшись земли, и пробежала с разлета к дороге. Она была рослая и крепкая. Густые золотисто-рыжие волосы, на концах ударявшие в бронзу, завитками, змейками, локонами разбегались по чистому белому лбу. На спине тяжело покоились косы. Дорогие мониста сверкали на шее. Белая, в кружевах, французского батиста рубашка прикрывала высокую молодую грудь. Голубой сарафан был заткан золотыми розами. От бега, от ветра качелей сарафан приник к ногам и очертил красоту их линий. Маленькие носки тонули в траве. Одуванчики золотым филигранным венком оправили башмачки. Белое, округлое лицо было приятной полноты и на щеках с ямочками горело румянцем. Небо точно отразилось в синеве глаз. Маленький пухлый рот приоткрылся. Точно ряд ландышей сверкал за алым разрезом милых губ.

Никогда такой совершенной красоты не видал Алеша. Могла ли она быть девушкой земли? Не была ли она из того мира, который раз показался и навеки запомнился Алеше. Когда зимой вошел в хату и увидал ее в прозрачно-золотисто-голубой дымке, и в ней мать рассказывала ему свой сон. Солнце, луна и звезды приснились тогда матери. Ярче и прекраснее солнца, таинственнее луны, нежнее далеких звезд показалась голубая красавица, подлинно царевна сказки...

Ямщик и полковник скинули перед ней шапки, и Алеша, отдаваясь преклонению перед совершенной этой красотой, сорвал с головы старый мерлушковый капелюх с серым чабаньим верхом и низко поклонился.

Губы девушки раскрылись в ласковой улыбке. Она небрежно-милостиво кивнула в ответ на поклон, круто повернулась, подбежала к качелям и, выждав, когда доска проносилась мимо, вскочила на нее и стала у жердей.

«Випп-вупп», – скрипели качели под нажимом сильных ног. Дальше ехала телега, неся за ней запах березы, черемухи и ландышей, и догоняла ее веселая срамная песня:

Сели девки на качели,
Взад-вперед снуют,
Чтоб качели вверх летели,
Значит... – поддают...

«Випп-вупп, випп-вупп», – в лад песне носились вверх, вниз качели.

Ямщик и Вишневский накрыли головы. Легкой рысцой побежали передохнувшие лошади.

– Кто она, ось подивиться? – задыхаясь от непонятного счастья, спросил Алеша.

Ямщик обернул к нему улыбающееся лицо.

– А не признал, что ли?.. – сказал он, блестя серыми лукавыми глазами. – Одна ведь на всю Расею такая и есть... А? Цесаревишна!

II

В Петербурге полковник Вишневский представил Алешу обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду. Сухой и чопорный швед в высоком пудренном парике,

бритый, в темном кафтане, осмотрел молодого парня и задал несколько коротких вопросов:

– Родился когда?

– Року тысяча семьсот девятого, марта семнадцатого, пан, ваше сиятельство.

– Грамотен?

– Трошки учився.

– В церкви пел?

– Случалось, и спивал.

Граф Левенвольд сделал знак. Бритый лакей в шитом золотом кафтане, в белых панталонах, щиблетах с золотыми пуговицами и мягких башмаках неслышно подошел к графу и наклонил голову.

– Снаряди гусара. Пусть отведет молодца на Мойку к полковнику Ранцеву, на дом. Скажет – принять на квартиру. От меня, мол, прислан, – повернув голову к Алеше, еще стороже и суше кинул: – В придворный хор! Для апробации! Дальше видно будет. Там вашего брата черкас от гетмана Даниила Апостола немало прислано. Полковник обучит тебя чему надо. Неотесан совсем. Ишь стоишь как, расставив ноги... Раззява!

Алеша только глазами моргал. В голове нескладно гудело. Все казалось, стучат колеса телеги по дорожным ухабам, камням и сухим колеям!

«В придворный хор, – думал он, – ишь ты как склалось. Скажи-ка дома, скажут: брешешь!.. А какая там брехня? Ишь ты какой важный, в кафтане, почище чемерского дьячка будет. Прямо архиерей немецкой...»

Гусар в высокой шапке вел Алешу по петербургским улицам. Как вся Россия, так и Петербург строился. Рушили низкие и маленькие, голландского стиля, дома петровской стройки с деревянными крыльцами, выбегавшими на улицу, и на их

место воздвигали высокие, в три и четыре яруса, хоромы. Улицы были то мощены крупным булыжником, то деревянными толстыми опалубками, местами прогнившими и провалившимися. По ним ездили двуколки и кареты, запряженные то парой, то четвериком цугом. Вдоль улиц, где по тротуарам из досок, где по пыльным натоптанным в траве тропинкам, шли люди. Торговцы несли лотки на головах и кричали, заглядывая в окна домов.

За Мойкой Невский стал так широк, что сто человек могли идти по нему в ряд. Справа и слева, бульварами, росли кудрявые круглые липы. За ними были широкие луга. По зеленой низкой траве в желтых и белых цветах паслись коровы. Проспект упирался в длинное белое трехэтажное здание, в середине его была башня в стройных колонках, с длинным и узким золотым шпилем, на вершине которого через мелкие золотистые барашки облаков плыл по небу золотой корабль. Дальше виднелось кружево мачт и канатов настоящих кораблей.

Еще увидел Алеша влево за площадью такой большой храм, какие только в Москве были. Узкая его колокольня поднималась к небу. Гусар рассказывал Алеше:

– Смотри, хохол, то Адмиралтейство, где корабли строят, а то будет церковь Исаакия Далматского, а по ту сторону длинное розовое деревянное строение, то Зимний дворец, где императрица, Ее Императорское Величество, пребывание изволит иметь. А туда дальше идет Большая Немецкая улица. Понял? Запоминай!.. Господа пошлют тебя куда, будешь знать, как идти.

У небольшого одноэтажного особняка с крыльцом и с высоким деревянным забором вдоль сада гусар за фалду остановил Алешу. Звонко брякнул за дверью колокольчик. Старый солдат, полковничий денщик, отворил и, расспросив, в чем дело, пошел докладывать.

– Просют, – сказал он Алеше. – Ты можешь идти. Парень здесь останется.

Он открыл белую дверь с бронзовыми ручками. За дверью была светлая горница. Два окна в мелком переплете открывались в сад. Солнце светило на желто-дымные скользкие квадратные шашки паркета. Пахло воском канифоли, крепким табаком, смолой и водой. Белесые шпалеры покрывали стены. Против двери, на стене, на толстых шнурах в овальной золотой раме висел портрет

императора Петра Великого. Под портретом на орехового дерева резной полочке стояла модель парусного корабля. По сторонам висели картины. В углу горницы был шкаф с книгами в желтокожаных переплетах. Подле него, в особом ставце, стояло знамя. Золотое копье с орлом венчало древко. Под портретом был большой дубовый стол. Из-за него поднялся навстречу Алеше полковник Ранцев, командир Ладожского пехотного полка.

Согласно с регламентом Петра Великого – «полковнику надлежало знатному и искусному благовзрачному мужу быть, дабы свой почтенный чин мог с благопристойной честью тако вести, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был...»

Таков и был полковник Сергей Петрович Ранцев. Если знатность его могла быть оспариваема – он был «птенец гнезда Петрова» – дворянин без двора, каких создал Петр и кем заселил свой Петербург, то воинское искусство его было засвидетельствовано в первой и второй Нарве, под Лесной и Полтавой и даже под Дербентом. Всю Россию с севера до крайнего юга исколесил с полком полковник Ранцев.

Никак не мог он быть «гнусен своему полку». В мирное ли время, пешком, перед строем, на церемониальном марше или при занятии лагеря – высокий, статный, худощавый, в длиннополом армейском кафтане темно-зеленого сукна, с расстегнутыми у ворота пуговицами, с белым шелковым галстуком на шее, повязанным широким бантом, туго стянутый в талии золотом обшитым ремнем со шпагой, в чулках и штиблетах, в черной шляпе с тремя загнутыми полями, обшитой золотым галуном, в голубой, василькового цвета епанче, изящно наброшенной на плечи, в пудреном парике, красиво обрамлявшем сухое, загорелое, всегда чисто выбритое лицо, с трехаршинным партазаном с золотой кистью у копья в руке – он был на голову выше своих гренадер и шел впереди них легко и смело, как подлинный вождь, ведущий полк. В баталии, на лошади, позади фрунта он ездил от одного фланга к другому, «побуждая всех ко исполнению своей должности против неприятеля». Умел он и сам стать впереди полка за «флигельмана» и так «метать артикулы», прихлопывая ладонью по суме и пристукивая по ружью, что сердце замирало у зрителей от восторга, и двухтысячная солдатская масса, стоявшая перед ним в четырехшереножном строю, увлеченная им, действовала, как согласная машина.

Был он и «благовзрачен» – с тонкими чертами благородного лица, с глубокими и строгими серо-стальными глазами, видящими самую душу солдата. Кроме полка,

службы, армии, России у Сергея Петровича было только обожание Петра Великого. Он не знал и не хотел знать старой, допетровской России с ее важными, медлительными, пузатыми боярами, торжественной полуславянской речью, темными палатами, душными хоромами и ханжеским древним благочестием. Для него Россия начиналась с Петра, и была та Россия – великая Россия славы императорской.

Мальчиком, сыном дворцового служителя Преображенской слободы, он пошел потешным на службу и, не отступая ни перед чем, прошел всю жестокую школу Петра. Казни и пытки стрельцов во время подавления мятежей старой России против новых порядков его не смутили. Солдат петровской регулярной армии, немцами вымуштрованной, шведами апробованной и натаस्कанный, он презирал старое стрелецкое войско и пренебрежительно называл его «стрельці» – с «і» на конце. Он сопровождал Петра в его путешествии в Голландию и Францию и, вынеся много полезного от чужеземцев, остался русским, петровским солдатом. Жестокая ломка Петра, – Ранцев, по приказу цареву, стриг бороды и брил усы боярам, пытал и жег раскольников, издевался с князь-папой Ромодановским над изуверством и кликушеством, смирял гордыню духовенства в Синоде, все с одной мыслью: новая Россия не должна ничем походить на старую Московию. Со своими солдатами он рубил полковые светлицы и устанавливал их чинными рядами-ротами на островах Невской дельты, устраивая Санкт-Петербург, он сажал сады и огороды, твердо веруя, что парадиз петровский затмит Москву.

У него не было рода. Ряды предков, записанных в боярские книги, князья и бояре, не стояли за ним. За его кабинетом, в чистеньком светлом зальце, с окнами, доходящими до пола, у стены, на особом постаменте, под стеклянным колпаком, как некая святыня, лежали патронная сума и ранец с флягой – солдатская его амуниция. Без роду и племени – «Сережкой» вошел он в солдатскую жизнь потешных и Петром за красиво уложенный ранец, умело и ловко вздетый на плечи, был назван Ранцевым. Ранец стал его гербом.

Он забыл о подлинной своей родине – селе Преображенском, его родиной стал Санкт-Петербург, при его участии строенный. Из Петербурга была взята им жена – Адель Фридриховна, дочь шведского шкипера, а посаженным отцом был сам Петр. В Петербурге родились и дети: сын Петр и дочь Маргарита. Он начинал ту Петербургскую Россию, которая казалась ему краше и славнее Московской Руси.

Опытным, офицерским взглядом Ранцев осмотрел вошедшего к нему рослого парня в сером малороссийском чекмене и по-солдатски оценил его.

– В придворные певчие, – сказал он. – Хорош, очень хорош! Такие везде надобны... России, братец, такие люди нужны... О голосе твоём судить будут те, кто к сему делу приставлен. Его сиятельство граф Левенвольд писал мне, чтобы временно принял я тебя в нахлебники и обтесал тебя... Учись!.. Наука не всегда и не в одной токмо школе обретается. Я помещу тебя с моим сыном, сержантом Преображенского полка... Когда свободен, ходи с ним, смотри ученья – пригодится. Когда найду время – побеседую с тобою. Имеешь что заявить?

Но не успел Алеша и рта разинуть, как полковник протянул руку и громко скомандовал:

– Ступай!

И такова была сила его команды, что сзади Алеши невидимая рука распахнула дверь, а сам Алеша, как мог проворнее, повернулся кругом и вышел из кабинета.

«Фрыштыкали» в полдень, когда сержант Петр Ранцев возвращался с ученья, обедали в пять, в девять часов было «вечернее кушанье», в одиннадцать ложились спать. Так установилась по ранцевскому регламенту петербургская жизнь Алеши Розума. Она вполне совпала с теми занятиями, к каким привлекли его в придворной певческой капелле.

После ужина, когда Адель Фридриховна, высокая худощавая женщина, с голубыми глазами при темных волосах, делавшими ее лицо особенно моложавым и женственным, села в углу за пяльцами, полковник Ранцев раскурил трубку голландского кнастера, подал огня сыну, юноше семнадцати лет в преображенском кафтане, широким жестом показал Алеше, чтобы он оставался за столом, и повел беседу-поучение.

Рита, ей шел шестнадцатый год, принесла на подносе высокие глиняные кружки с «английским» пивом. Настежь раскрыли окно, выходившее в сад, окруженный высоким забором. Румяная горела заря за садом. Все никак не могло зайти за горизонт низкое солнце. В розовой дымке были цветущие черемухи, белые стволы молодых берез казались прозрачными. Резеда и левкои в клумбах благоухали. Вдоль дорожки сада узорным ковром росли маргаритки.

С Невы тянуло свежестью, запахом воды и смоляных канатов. Из города приглушенный доносился стук подков и дребезжание колес по мостовой. Где-то далеко, должно быть в Семеновском полку, бил «тапту» (вечерняя зоря) барабан. Белая ночь надвигалась на город. Воробьи перекликались в кустах. В березовых аллеях, укладываясь на ночь, серый дрозд посвистывал томно и нежно. Запах сада то вливался в комнату, то глушился терпким, крепким запахом табака. Старый и молодой Ранцевы расстегнули кафтаны. Белые камзолы выделялись в сумраке комнаты.

– Гляжу на тебя, Алексей, и не знаю, кем ты будешь? – сказал Ранцев-полковник.

– Та як же?... Казали – певчим... Певчим и буду, – скромно ответил Розум.

– Нет, братец. Прозорливость моя говорит мне, быть тебе и поболее, чем певчим... И рост, и красота, и осанка!.. Тебе в гвардии солдатом быть. Ныне, конечно, не те времена... – Полковник вздохнул. – При Петре...

Алеша мягко улыбнулся и, коверкая русские слова и стараясь возможно понятнее изложить то длинное и сложное, что ему надо было сказать и что – он это чувствовал – не понравится полковнику, тихо проговорил:

– Господин полковник... Не маю ревности к военной службе и до смерти боюсь воинского артикула. Спивать – вот моя охота. Вчора его сиятельство, граф Левенвольд, изволил слушать, как я в капелле пел один и с хором, и сказывал: дюже гарно у меня идет. Он указал мне ревность иметь к чтению философов, к развитию ума, к изучению итальянского пения. Он сказал, что даст мне случай послушать придворных ее высочества французских певцов и знаменитых итальянских кастратов. Воинское искусство представляется жестоким нежному моему сердцу... Вот хвилосохвия...

Полковник перебил Алешу и не дал ему договорить. Он нетерпеливо стукнул кружкой. В словах Алеши он услышал то, что давно раздражало и заботило его. Этим миролюбием полна была вся теперешняя послепетровская жизнь. Об этом любили говорить в салонах Петербурга, и от самого двора Анны Иоанновны веяло этим желанием «перековать мечи на орала»... Вместо петровского живого дела пошла роскошь, «хи-хи», да «ха-ха», да вот эта самая философия. Полковник Ранцев, прищутив глаза, смотрел на Алешу. «Кто его знает, – думал

он, – кем еще станет этот красавец певчий. Какая фортуна его ожидает?.. Молод, а туда же – о философии рассуждает, воинское искусство порицает... надо, пока не поздно, выбить из него сию дурь... Философию...»

– Есть мнимые философы, – с горечью сказал он, – которые укоряют Великого Петра жестокостью и бесчеловечием на войне и называют вообще воинов наших варварами. Но не всегда ли кровавы средства на войне? Высочайший нравственный закон равно ли действует как на философа в кабинете, так и на гренадера, который возьмет штурмом батарею и еще бродит по колено в крови. При взятии крепости приступом, как брали мы Нарву, с великим уроном, легко ли сохранить чувство человечества?.. Вот отчего война бывает всегда жестока, и жестокость сия происходит от человеческой природы. Сколь любезно всемирное согласие и братство чувствительным душам! Так мечтали много веков философы и ныне о том восклицают!.. Но представим себе злополучные времена, в которые Россия страдала под игом варваров, когда поляки и татары, пользуясь изнеможением нашим, терзали отечество наше и целые российские княжества покорены были их подданству. Внутри раздирали сердце России самозванцы, раскольники, «стрельщики», разбойники, злодейства и предательства. С севера шведы наводнили было Россию, где, ископав они гробы, в них и погребли себя не возвратно. С юга империя Оттоманская, по своему закону и духу правления, всегда была опасный враг России и вечный неприятель христиан. Прочти историю отечественную – и сердце обольется кровью, чувствительный человек потрясется в бытии своем, представив в живой картине все ужасы, понесенные Россией.

Старый Ранцев залпом выпил кружку пива. Белый свет северной ночи стоял в столовой. В углу у зажженной восковой свечи сидела Адель Фридриховна и, наклонившись над пальцами, вышивала гладью. Рита сидела у ее ног на маленькой скамейке-качалке и, расставив колени, держала в руках концы пальцев. Петр Ранцев неподвижно стоял у окна. Алеша облокотился на стол и глубоко задумался. Не все понятно ему было в словах полковника, но самый гром его слов захватывал. Полковник замолчал, и Алеша тихо спросил и сам испугался, что нарушил молчаливое шествие ночи:

– Ось подивиться! Что же дальше?

– Дальше?..

Полковник встал, Алеша медленно поднялся от стола и подошел к Петру Ранцеву. Под самый потолок уходила голова полковника и была освещена зеленоватым отблеском июньской ночи. Серый дрозд вопросительно просвистал в кустах сирени и, точно подзадоривая, спросил: «А дальше что?»

– Дальше?.. Поистине справедливо, что мы учинились оружием и промыслом славными, страшными и во всех частях света громкими. Российский народ есть прехрабрый на свете, и с сей стороны никто не смеет опровергать достоинств наших. И в пределах России явились те, что в Риме были Сципионы, в Афинах Мильтиады, Фемистоклы, Аристиды, Фразибулы, Кононы-Ификраты и Тимофеи, в Коринфе Тимолеоны и напоследок в Карфагене – Амилькары и Аннибалы, и у нас так же есть свои Курции, Кольберты, Ришелье и Марлборуги. Но да уступит нам древность и да умолкнет баснословная ее пышность. Посвященные вечности Мемфисские пирамиды сокрушились, и ты, Колосс Родосский, разрушился и смирил свой прегордый вид. Слава наших героев не на баснословии основана, и нетленные поставляет она себе бессмертия пирамиды и обелиски – славные дела наши незатмеваемы пребудут. Ибо мы не собственной искали славы, но полагали оную в славе и благоденствии своих соотечественников и утверждали на любви ближних своих и на любви всего рода человеческого!..

Полковник Ранцев высоко поднял гордую голову и так громко стал заканчивать речь свою, что умолкли птицы в саду и эхо отозвалось о садовый забор:

– И доколе российский пребудет глаголющ на земли язык и письма не истребятся – не истребятся наши пирамиды и хвалы, не истребит и не затмит славных и неподражаемых дел наших никакая едкость времени, никакие перемены света и никакая грядущих веков отдаленность!..

– Виват, – восторженно прошептала Рита.

Полковник твердыми, широкими шагами вышел из горницы.

«Сентенции» Сергея Петровича, а еще того более незаметное влияние Риты шлифовали Алешу. Он уже говорил по-русски, лишь иногда вставляя малороссийские слова. Он проникся восторженным обожанием Петербурга и старого петровского двора, которым была полна вся ранцевская семья. Он начал

все более и более интересоваться «цесаревишной», что явилась ему сказочным, сонным видением, когда проезжал он через Александровскую слободу под Москвой, и о которой говорили с почтительным восхищением и называли «искра Петра Великого», «наша солдатская дочь», «Преображенского полку капитан»...

В этом году по всему Петербургу дивно уродились ягоды. Не было сада на Васильевском или Петербургском островах, где не кипел бы на особом кирпичном очаге в медном, плоском тазу сахарный сироп и румяное от жара лицо молодой петербурженки не склонялось к нему, наблюдая, как опускаются и поднимаются в нем большие ягоды, пускающие прекрасный то розовый, то малиновый сок.

У Ранцевых вдоль забора с южной стороны в густых кустах бесчисленными длинными кистями, сердоликовыми сережками повисли ягоды красной смородины, их прерывали шпалеры прозрачной, восково-желтой ароматной белой смородины, а за ними висели громадные кисти, точно матовый виноград, черной.

У крыльца пылал в очаге, сложенном из кирпичей, огонь. На очаге под наблюдением Адель Фридриховны закипал сироп. Две дворовые девки и два денщика проворно чистили ягоды, которые им носили в корзинах Рита и Алеша. Вовсю шла варка варенья.

– Ну, довольно, довольно... Довольно, милая Рита, – ласково сказала Адель Фридриховна. – Ты совсем-таки замучила Алексея Григорьевича.

– Замучаешь такого верблюда... Ну да ладно!.. Идемте к качелям. Помните, вы мне пять фантов должны и ни одного еще не исполнили...

Рита в домашней «самаре», с маленькими фижмами, в юбке бледно-желтого цвета, с голубыми васильками по ней, церемонно присела, протянув худенькую руку, согнула ее призывно в кисти и томно, чему-то слышанному и виденному подражая, протянула, сердечком сложив губы:

– Туда!..

И быстро, быстро побежала по березовой аллее к высокому столбу, с которого свешивались толстые веревки. Она села в широкую холщовую петлю, уперлась

маленькими ногами в песок и подняла худенький подбородок миловидного лица. В руке у нее был сорванный ею на бегу лист лопуха. Она обмахивалась им, как веером.

– Ска-ажите, – протянула она... Рита видала придворных дам цесаревны, она подглядывала в щелку на ассамблеях и куртагах и усвоила придворные манеры. – Ска-ажи-те?.. Вы умеете бегать на гигантских шагах...

– Нет, Маргарита Сергеевна, не потрафлю... Не учився...

– Не учився, – передразнила Алешу Рита. – Разве сему надо учиться?..

– Боюсь об столб шмякнусь... Расшибусь.

– Впрочем, – снизошла Рита к робкому хохлу, – нас мало. Вдвоем трудно бегать. Я люблю, чтобы меня заносили на распашном весле... Высоко, высоко... Выше дома... Вы знаете, мы так высоко летаем, что Неву видно...

– Ось подивиться!.. Вы дюже храбрая.

– Послушайте... Сорвите вон ту кисточку.

Рита показала на молодую кисть черной смородины.

– Извольте, сударыня.

– Какая сие смородина?

– Черная.

Брови Алеши поднялись кверху. Прекрасные глаза смотрели с недоумением. Чего еще хочет от него эта лукавая девица?

– Черная?.. Так почему же она красная?

Алеша ничего не понимал. Он молчал, стоя перед Ритой с широко расставленными ногами.

– Потому, сударь, что она – зеленая. Вот и все! – Серебряными колокольчиками рассыпался веселый, задорный смех. Рита соскочила с петли и подбежала к Алеше. – Становитесь рядом... Так... Вон, в конце аллеи – беседка, там пятнать нельзя... В горелки... Поняли? Слушайте: «Гори, гори ясно, чтобы не погасла... Глянь на небо – птички летят!..» – мерно, размахивая в лад рукою, запела Рита.

Алеша невольно вскинул вверх голову, в тот же миг Рита сорвалась и, мелькая ногами под развевающимся воланом платья, кинулась бежать по аллее. Алеша бежал за нею, раскачиваясь. Куда там – догнать! Догонит вол легкую лань?.. Перед самым носом Алеши захлопнулась стеклянная дверка беседки, потом приоткрылась, и две девичьи руки с ягодным соком перепачканными пальчиками показали ему большой «нос».

– Пожалуй, сударь, сюда.

Дверь открылась. В беседке Рита сидела в кресле, обитом розовым рипсом.

– Сядьте напротив... Вы кто будете? Придворный?.. Придворный?..

– Певчий.

– Так... У вас есть братья и сестры?.. Сестры? Главное – сестры...

– Так... Маю братьев и сестер.

– Маю... Так не говорят... Неисправимый хохол!..

– А вы, Маргарита Сергеевна, москалька, – огрызнулся Алеша.

– У-у, какой! Я вас!.. Императрице пожалуюсь... Я не москалька, милостивый государь мой, а петербурженка... Извольте сие запомнить, зарубить на вашем прекрасном носу... Итак – «маете» братьев и сестер. Кто да кто?..

– Старший брат Данило.

– Даниил... Так... Потом?..

– Що Кирила.

– Що! Оррер!.. Кирилл. Сестры?.. Сестры?..

– Агафья, Анна, Вера....

– Боже, – всплеснула руками Рита. – Целое капральство...

– За что вы мне все говорите поносные и язвительные слова.

– Алексей Григорьевич, я вам не поносные и язвительные слова говорю, но учу вас, молодого, прекрасного хохла, как быть при дворе.

– Я при дворе?.. Но когда же я буду?..

– Но ведь вы – придворный?

– Певчий.

– А!.. Все равно!.. Вы можете попасть в случай. Если цесаревна вас услышит... Она так любит музыку и пение... Вам по-французскому надо учиться.

– Ось подивиться! Куда мне, Маргарита Сергеевна, я и по-русски-то все промахиваюсь.

– Подлинно, промахиваетесь... Я буду вас учить.

– Извольте, Маргарита Сергеевна... Премного благодарствую.

– Не на чем... Будем играть в «провербы».

– Що це такое?.. Николи того не бачив.

– Не бачив... Пусть!.. Впрочем, это вдвоем нельзя. Лучше попробуем в буриме.

У Алеши глаза вылупились.

– Я скажу два слова, а вы на них мне ответите стихом. Четыре строчки. В рифму. Вы знаете, что такое рифма?

– Ну, бачив... Рифма?.. То есть склад.

– Итак...

По загорелому лбу Риты тонкими паутинками побежали морщинки. Не глубокие морщины старости, а тонкие морщинки ранней юности, когда кожа делает запас для растущего черепа.

– Скажем... Гадалка и купава...

Лицо Алеши стало таким беспомощным, что Рите стало жаль его.

– Гадалка?.. И купава... Гадалка?.. Гадалка?.. Скажем – прялка... Купава?.. Ну – пава, что ли? Нехай буде пава.

– Слушайте, надо, чтобы смысл вышел. Так ничего – только слова, а надо стихи... Слушайте и запоминайте: Однажды мне сказала старая гадалка: «Когда распустится волшебная купава И принесет тебе ее русалка, Ты береги цветок – твоя в нем слава!» Эх, жаль купавы под рукою нет. Я поднесла бы ее вам... Как русалка!

– Ах, як же!.. То ж прямо чудеса!

– Ладно... И менуэт вам надо уметь танцевать, и англес, и аллеман, и кадрили... Идемте. Дайте вашу руку. Да не так!.. Чуть коснитесь пальцами. Дама вас возьмет. Какая красивая рука!.. И сами вы молодец! Настоящий петиметр!.. Нет, что я, какой вы петиметр?.. Сколько в вас росту?

– У прошлой недели полковник у притолоки мерив. В вашем батъке без двух вершков сажень, Петра Сергеевич трошки помельче буде. Одначе два аршина

десять вершков...

– Еще бы, – с гордостью сказала Рита, – первого батальона Преображенского полка! А вы?

– Два двенадцать...

– Тоже здорово!.. Какой же вы петиметр! Вы вельможа!.. Господи!.. Этаким рост!.. Такая красота!.. Вам надо в гвардию записаться. В Конный полк!.. Итак, – Рита, грациозно согнув на локте, опустила руку и концами пальцев приподняла юбку. – Повернитесь лицом ко мне. Первое па: полшага правой и полшага левой ногой. Не так!.. Совсем не так!.. Полшага!.. Пол!.. Пол!! Пол!!! Мелкий шаг. Теперь – правой ногой... Приподнимитесь на носки!.. Согните ногу... Плавно!.. Не дергайте ее. Под музыку и в ритм... Слушайте: раз, два, три!.. Раз, два!.. Ну, начинаем. Я вам пою... Слушайте такт!.. Такт!! Ведь вы же певчий!.. придворный певчий!! У вас же должен быть слух!..

– Так я же лучше вам, Маргарита Сергеевна, на бандуре сыграю менуэт сей самый.

– Ладно, ладно... Теперь пойдем обратно. Слушайте: «Я вас так лю-блю...»

– Верить не могу...

– А, вы мне отвечаете?.. Каков! Сколько в сердце ран...

– Это все обман...

– С русскими словами у вас как-то ладнее идет. Вот тут вам присесть надо, каблуками прищелкнуть... Ну-с, дальше!

– Сердце что костер...

– Это пламя – вздор...

– Судит пусть ваш дивный взор...

– Ей-богу, правда, по-русски у вас выходит совсем хорошо.

– Дюжа заплутався, Маргарита Сергеевна.

– Не отделаетесь, сударь, коль скоро я за танцы взялась.

– Нет, нет, нет, слова напрасны...

– Быть покинутой ужасно...

Так и шли они менуэтом по дорожке сада, усыпанной желтым речным песком, пока не наткнулись на рослого преображенного сержанта, вдруг появившегося из боковой калитки.

Сержант был по-летнему, по-домашнему, – в одном белом камзоле с широкими кружевными рукавами, в зеленых штанах, в белых штиблетах и башмаках. Напудренный парик с косой был снят, и темно-русые волосы «по-петровски» обрамляли чистое загорелое лицо, ниспадая до плеч.

– Ну что, готовы? – весело крикнул сержант. – Ты так и по едешь, Рита? Хотя бы пальчики помыла.

– Я в реке ополосну.

– Алексей, тащи бандуру.

Адель Фридриховна принесла Рите суконную, сливочного цвета мантилью и шляпку, денщик подал Петру Сергеевичу голубую епанчу. Шестивесельная полковая шлюпка ожидала их на Мойке. Зимней канавкой шли медленно. Засинели, заголубели широкие невские просторы, показались серые бастионы Петербургской крепости и белое здание собора, за ними зелень садов Люст-Эланта.

Рита сидела на руле, на алой суконной подушке, рядом с Алешей. Она положила «право руля», и шестерка стала плавно поворачивать против течения. Шли вдоль берега. В желтоватую, прозрачную воду глубоко уходили лопасти, и весла гнулись, подавая вперед нарядную темно-синюю, с золотым обводом лодку.

Полковой, кормовой флаг развевался за спиной у Риты. Гребцы, преображенцы в алых камзолах, гребли ровно, сильно и мерно.

Набережная косыми рядами бревен плыла мимо них. В пазах, у воды, ярко-зеленой паутиной колебались водоросли. За деревянным, на столбах, забором стояли вплотную, прижавшись друг к другу, высокие каменные трехэтажные дома. Вдоль них, по набережной пешком, на двуколках, в каретах парой, четверней цугом, верхом на нарядных лошадях шли и ехали гуляющие. По Неве то и дело встречались ялики, шлюпки, парусные галиоты и яхты. Все, кто мог, пользовались хорошим теплым летним вечером. Большая двухмачтовая лайба, до самых бортов груженная досками, выбирала якорь, и отпущенный парус на грот-мачте, подтянутый вверху косой райной, полоскался белыми углами.

Пахло водой, смолой, цветущими липами и чем-то неуловимо-нежным и свежим, чем пахнут вечерними, летними часами на невской шири. За спиной Алеши и Риты пылала заря. Розовые отблески ложились на камзолы гребцов и на их распущенные, без шляп и кос волосы, колеблемые ветром. Волны покрывались позолотой и певучими струями разбивались о борта лодки.

Тихо проплывал Летний сад в зеленых газонах, где ковровым узором росли цветы. Молодые липы, подстриженные шариками, стояли чинными шпалерами, дубы кудрявились веселой рощей перед петровским Летним дворцом. Его высокие окна пламенели, отражая солнечный пожар. Длинные деревянные галереи в колоннах были по краям и в середине сада. С них к воде спускались лестницы. У пристаней теснились причаленные лодки. В средней галерее в розовом вечернем свете показалась во всей своей таинственной красоте статуя прекрасной Венус, привезенной Петром из Италии. Алеша стыдливо отвернулся от ее дивной наготы. В широкой аллее золотоцветных акаций били фонтаны.

Петр Сергеевич рассказывал, как сажали ту или другую аллею, как привозили заморских птиц и зверей в зверинец при Летнем саду, какие где были гроты и статуи.

– Та площадка называется «дамской». На ней сиживала императрица Екатерина со своими дамами в летние жаркие дни, а та, дальше, – «шкиперская», там за фонтанами стоит статуя Венеры с закрытым лицом, еще дальше за ней будут клетки птичника.

У Литейного проспекта, среди порубленного леса, стояли редкие сосны. Их стволы были точно обернуты в золотисто-розовую фольгу. Между ними штабелями лежали тела чугунных пушек – тут был литейный двор. Напротив, на Выборгском берегу, рос густой сосновый лес, и там, у реки, на расчищенной площадке правильными рядами белели палатки артиллерийского лагеря. Река загибалась на север. Уставшие гребцы гребли по очереди. Алеша звенел струнами на бандуре и пел нежным тенором про Палию и Мазепу:

Пише, пише та, гетьман Мазепа,

Ой, до того недиждав.

Щоб я свою православну виру

Тай пид ноги подтоптав.

Рита сидела, опустив руку в воду и не управляя лодкой. Большие светло-голубые глаза смотрели вдаль, на восток, где изумрудно было небо и где в вышине стадами-табунами, перламутровыми раковинами застыли над холодеющим небом прозрачные облака-барашки.

Пише, пише та, гетьман

Мазепа, да до Семена листи:

«Ой, приидь, приидь, Палию Семене,

Та на банкет до мене...»

И Петр, и Нева, и Мазепа, и какой-то Семен Палий, о котором Рита никогда не слыхала, и далекая Малороссия, откуда приехал этот милый хохол, и его мягкое пение, и только что в саду напетый ею старый французский менуэт – все было в полной гармонии с перламутрово-золотыми барашками, медленно таявшими на ее глазах, в прозрачно-зеленой вышине. Все сливалось с невской глубокой ширью в раме берегов в мелком сосновом лесу.

Подлинно – парадиз земной – Петрова отрада!..

Не доходя до Александро-Невского монастыря, повернули обратно. И только прошли Охтенскую крепость, как Петр Сергеевич показал глазами Рите, чтобы

она обернулась назад.

– Смотри!.. Отец!..

Белая шестерка с золотым обводом, с бело-сине-красным флагом за кормой, не спеша, деловито выплывала из Охты и шла за ними. Рита оглянулась и тотчас узнала шлюпку Ладожского полка и отца на руле.

– Не догонит, – сказала она.

– Подождем, – бодро и с вызовом кинул сержант и скомандовал: – Суши весла...

Но ладожская шестерка не торопилась, их же лодку сильно несло течением, и казалось, никогда они не подравняются.

– На воду!.. – крикнул Петр Сергеевич. – Табань!..

– Ой... – болезненно охнула Рита, – что с тобой, ход потеряем.

– Ничего... Преображенцы все равно нагонят.

Лодка остановилась, медленно пошла назад, вверх по течению. Ладожцы догнали и сейчас же легко и далеко обогнали преображенскую шлюпку. Щеки Риты покрылись темным румянцем. Старый Ранцев понял маневр сына и негромко сказал что-то своим гребцам. Ладожцы налегли на весла, и их лодка понеслась, все дальше уходя от преображенцев.

– Ну вот, ну вот, что же сие? – со слезами в голосе воскликнула Рита. – Я же говорила... Теперь все пропало и начинать не стоит.

– Навались, – спокойно скомандовал Петр Сергеевич.

Алеша заиграл на бандуре.

– Ах, не играйте вы! – с досадой крикнула Рита. – Не до песен теперь...

Четырехаршинные легкие весла с плеском опускались в воду, шестерка зарывалась носом в волне. С каждым взмахом весел она мощно раздвигала вдруг забурлившую под ней воду, расходящуюся широкими серебряными полосами к берегам. За рулем в жемчужных пузырях клубилась далеко уходящая струя. Впереди солнце заходило за леса островов, и румяная заря горела вполнеба.

Волнение Риты передалось Алеше, и он теперь ничего не видел, кроме белой лодки Ладожского полка, за которой реял и шумел цветной русский флаг.

– Навались!.. Навались!.. Навались!.. – сама того не замечая, сухими губами бормотала Рита в такт гребцам. Она туго натянула шнуры, подавалась корпусом с гребцами и не сводила потемневших глаз с белой спины отцовского камзола.

Не уменьшалось расстояние между лодками. Они уже пронеслись мимо Артиллерийского двора и приближались к Летнему саду.

– Сильнее, сильнее, братцы!.. Нажми!.. Еще, еще!.. По чарке водки, коли обгоните, – хриплым голосом подбодрял гребцов Петр Сергеевич.

Каблуки его башмаков впились в планку. Вода захлестывала за борта и плескалась у ног Риты, промачивая шелковые башмачки. На бревенчатых плотях, которые они обгоняли, плотовщики в пестрых рубахах махали черными валяными шапками и кричали:

– Не осрамись, преображенцы!.. Не сдавай ладожцам.

На набережной, у дворцов, заметили гонку, и народ толпился у деревянного парапета. С берега неслись крики:

– Преображенцы!.. Преображенцы!.. Еще самую малость, преображенцы!..

– Ой, ладожцы, родные!.. Ладожцы, сильнее!..

По этим крикам Рита вдруг поняла: они нагоняют. Она точно очнулась от какого-то сна и облегченно вздохнула. Проясневшими глазами посмотрела она вперед и увидела вдруг в совсем неожиданной близости отцовскую шлюпку. Ладожцы

сбились с такта, пошли наперебой, зачастили.

– Виктория!.. – звонко крикнула Рита. Их шлюпка проносилась мимо ладожцев.

– Суши весла, – скомандовал Петр Сергеевич, и по его команде «весла!» гребцы вынули весла из уключин и подняли их отвесно, лопастями вверх, отдавая честь побежденному. Старый Ранцев сделал то же и снял шляпу, кланяясь сыну-победителю.

Так и мчались они, один за другим, чуть колышась на волнах полноводной Невы.

– Ай молодца! – крикнул полковник Ранцев. – По-петровски!.. Отца обогнал...

С набережной кричали:

– Виват, преображенцы! Виват!!

Старик рыбак с круглой низкой бадьей, накрытой сетью на голове, остановился и сказал сокрушенно:

– Ай мои ладожцы, ить проиграли преображенским...

– С Ладоги, что ль, старик?

– С самой я Ладоги... И очень сие мне даже досадно... Теперь плыли спокойно: впереди голубая преображенская шлюпка, за нею белая ладожская. Рита положила «руль налево», и их лодка, описав красивую дугу, вошла в Зимнюю канавку и пошла к Мойке. Полковник сзади кулаком грозил во весь рот улыбавшемуся сыну.

На Мойке, у причалов, под развесистыми вербами было темно и пахло водой и тиной. В глубине сада светились огни окон. На застекленном балконе, за чисто накрытым столом сидела, ожидая мужа и детей, Адель Фридриховна. Китайского «порцелина» прибор стоял перед ней на подносе, и в хрустальной чашке благоухало ванилью свежее красносмородиновое варенье.

– Видал такие вещи, Алексей, – сказал полковник, подавая Алеше чашку.

Алеша с обветренным лицом, – ему казалось, что пол под ним колыхнется, – счастливый счастьем Риты, рассматривал пестрые тонкие чашки и блюдца китайского фарфора и низкий пузатый чайник.

– Ось подивиться. Гарненько слеплено... Николи не бачив, – сказал Алеша и вызвал громкий, радостный смех Риты.

– А ныне по причине пресмыкающихся взад и вперед в течение лета наших кораблей все сие имеем. Вот как от шлюпочной нашей забавы – до чего дошли... А все он! Все Петр наш Великой!

III

Преображенский полк вышел на учение на поле против Адмиралтейства. Было тихое октябрьское утро. Туман навис над городом, золотая адмиралтейская игла скрылась, точно растворилась в нем. Резок был стук редких в этот утренний час извозничьих двуколок по булыжной мостовой. Поле, которое весной в первый день своего приезда в Санкт-Петербург Алеша видел покрытым яркой весенней травой в белом и золотом цвету, было буро-серым, истоптанным людьми и лошадьми. Длинные и темные лужи тянулись тут и там, и лишь по краям лохматилась высокая, спутанная, как волосы на голове пьяницы, побуревшая осенняя трава. С подстриженных лип бульваров Невского проспекта последние опадали листья и ложились бронзовым узором на коричневый песок сырых пешеходных дорожек. Казалось, что и белые стены Адмиралтейства набухли сыростью. За ними не было видно кружевного такелажа судов: корабли ушли в море, навигация кончилась.

Разошедшийся по капральствам Преображенский полк малыми группами занял все поле.

Бравый сержант Ранцев, в каске с медным налобником, с помпоном наверху, в седом напудренном парике, с длинной алебардой в руке, с тростью, засунутой за подшпиленные полы мундирного кафтана, в белых холщовых штиблетах, застегнутых бронзовыми пуговицами, обходил капральство. Люди стояли «вольно». Шла проверка словесного обучения по регламенту Петра Великого.

Ранцев воткнул алебарду железным наконечником в землю и, вынув трость из-за кафтана, прикасался ею к груди солдата, которому задавал вопросы. Все это были его рекруты... Впрочем, какие они были рекруты-новички? Почти год терпеливо и настойчиво обучал он их, и если бы не наряды на городские караулы и на бесчисленные строительные работы – весь Петербург наново строился, и строили его по-прежнему солдаты – как бы он их еще приготовил!..

– Микита Мяхков, доложи мне, что есть солдат?

Никита Мяхков, парень саженого роста, пожевал пухлыми, детскими губами, то приподнимая, то ставя на землю тяжелый мушкет, казавшийся в его руках тоненькой тростинкой.

– Что есть солдат? – повторил он негромко и сейчас, точно припомнив что-то радостное, быстро стал отвечать, широко улыбаясь: – А солдат есть имя знаменитое. Имя солдат содержит в себе, просто сказать, всех людей, которые в войске суть, от первеющего енерала даже до последнего мушкетера, конного али пешего.

– Ладно. – Ранцев сделал шаг вдоль шеренги и остановился против миловидного юноши с тонкими чертами чистого, бледного, породистого лица.

– Де Ласси, что полагается за смертоубийство?

Юноша, почти мальчик, вспыхнул розовым румянцем смущения и, чуть заикаясь, стал отвечать:

– Кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, равно кто офицера наглым образом умертвит, оного надлежит колесовать.

– Таким образом, де Ласси?

– Император Петр Великий приравнял офицера к самым близким и дорогим человеку существам: отцу, матери и малому ребенку.

– Чем будешь заканчивать поучение подчиненным солдатам, когда будешь капралом?

– Буду говорить: Богу Единому слава!

– Точно.

В этот тихий осенний день Ранцеву хотелось, чтобы ему отвечали хорошо, и он нарочно выбирал наиболее толковых гренадер.

– Артемий Колчюга, что знаешь о знамени?

– Понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа своей жизни не оборонит, оный не достоин есть, чтобы имя солдата имел.

– А служить как будешь, Недоросток?

Яков Недоросток был без вершка сажень и даже на очень высокого Ранцева посмотрел сверху вниз и пробурчал густым басом в октаву:

– Служить надлежит солдату честно, чисто и неленостно, но паче ревностно.

– Ахлебаев, доскажи, что еще затверживал о службе?

– От роты и знамени никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, непременно добровольно и верно, как мне приятна честь моя и живот мой, следовать буду.

Ранцев внимательно посмотрел на солдата. Вряд ли гигант Ахлебаев отчетливо понимал, что значит – «приятность чести и живота». Солдат, не мигая, смотрел в глаза сержанта. «Лишь бы исполнил, а там не все ли одно. Может быть, до головы и не доходит, да в душе зато крепко сидит», – подумал Ранцев и, довольный ответами капральства, отошел от шеренги, взял алебарду в руку, молодецкато пристукнул ею о землю и скомандовал:

– Слушай!

Шеренги стали «смирно», солдаты устремили глаза на юношу сержанта.

– Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты, солдат стоит стрелкой...

Ранцев окинул взглядом свое капральство. Стрелками стояли его гренадеры.

– Де Ласси, отбей крепче колени... Ахлебаев, пузу убери... Равняйся!.. Четвертого вижу, пятого не вижу.

В три прыжка Ранцев очутился на правом, потом на левом фланге, выравнивал капральство.

– Слушай! – скомандовал он снова. – Метать артикулы. К приему!.. На пле-ечо!.. Ать... два... три!.. Шай на кра-ул!.. Ать... два!.. Звонче делай прием. Приударь по суме! Вот так!.. На пле-чо!.. Положи мушкет!.. Оправься!

Медные антабки, чуть ослабленные в кольцах, звенели с каждым приемом. Ружья легко летали в руках у гренадер, точно они и веса не имели. Ранцев дошел до своего любимого состояния командного упоения.

– Слушай! Мушкет к заряду-у! Без темпов: открой полку! Примерно: сыпь порох на полку! Закрой полку! Перенеси мушкет на левую сторону, приклад поставь на землю! Вынь патрон! Примерно: скуси патрон! Клади в дуло! Вынь шонпал, ать, два! Окрачивай к груди! Примерно: набивай мушкет! Вынь шонпал! Ать, два... Три-и-и!.. Окрачивай коло груди. Клади в ложу! Подыми мушкет на краул! Взводи курки, кладсь! Прикладывайся не к щеке, а к плечу-ю! Мушкет держи ровно, чуть нагнувшись наперед... Стреляй!..

Ружейные приемы шли гладко. Ранцев дал людям оправиться. В соседнем капральстве старый, с серебряной медалью за Полтавскую баталию на шее, сержант производил учение «с богинетом». Его мрачный бас далеко неся в туманном воздухе.

– На ру-у-ку! Коли в четыре оборота.

Сильно по земле топали «на выпаде» люди. Ранцев вызвал перед фронт капрала Наерина – за «флигельмана» и скомандовал:

– Слушай! Метать артикулы по флигельману, без команды! Зачинай!

Наерин, старый, опытный капрал, моргнул и стал выбрякивать ружьем – взял «на руку», – и капральство в те же счеты, угадывая прием, взял «на руку», взял «на плечо», «на караул», «на молитву», «от дождя», «к ноге», «на погребение»...

Два раза сбились, пришлось отставлять, опять делали приемы, и уже тяжелые капли пота показались из-под пудренных мукой париков и потекли по загорелым скулам.

По полю бежали фурыеры со значками из алой китайки и с номерами рот, нашитыми на них. Капральства сводились в общий строй всего полка. Готовилось полковое учение.

Грозной массой в четыре плотно сомкнутые шеренги стали гренадеры и мушкетеры. Ранцев растворился и исчез в их густом строю, почувствовал себя песчинкой морской, крошечным винтиком громадного механизма. От строя шел глухой шум. Звенели «багинеты», брякали кольца ружей, цеплялись патронные суммы, ворчливо перебранивались вполголоса гренадеры, устанавливаясь в строй. Полковник с длинным партазаном в руке стоял против фронта, дожидаясь, когда все капральства займут места, образуя роты, и когда майоры возьмут над ними команду.

Строй постепенно затихал и замирал в положении «смирно».

Полковник звонко скомандовал:

– Слушай!..

Команду повторили по батальонам: «Слушай!.. Слушай!.. Слушай!..» Все замерло. Люди притаили дыхание.

– Равняйся!..

И опять: «Слушай!..»

Мертвая тишина стала над полем. Полторатысячный полк замер длинной и густой линией строя. В туманном воздухе отблескивали медные налобники шапок. Полы кафтанов лежали недвижно. Широкие красные обшлага рукавов

протянулись вдоль фронта алой лентой. Линия белых галстуков рядовых прерывалась черными точками офицерских шарфов. Там над строем стальным блеском сверкали широкие лезвия алебард.

– Слушай! Будет учинен батальон де каре!.. – командовал полковник. – Правое крыло швенкуйся налево, левое швенкуйся направо!.. Средние две части подавайтесь к вашим надлежащим местам и смыкайтесь!

Майоры заголосили по флангам:

– На-пра-во!.. Ступай!.. На-ле-во!.. По-прежнему!.. Стой!.. Стой!..

– Отставить, – свирепо крикнул полковник. – Что за галдеж!.. Почему вторая рота пошла вразнобой с третьей?.. Неравномерно подаете команды!.. Аттении мало!.. Потрудитесь смотреть на мой знак! Зачинайте сначала!.. Барабанщики, бей...

Тяжкий хруст шагов слился в мерную гармонию. Фронт сломался, выпятился вперед, осадил назад, зашел плечами и – грозная квадратная крепость, составленная из людей, стала на поле. На Невском бульваре, у Адмиралтейства и у Мойки, кучками толпился народ, любовавшийся солдатами. Барабанщики били «раш», когда роты заходили на свои места и, отбивая шаг на месте, выравнивались.

– Первая шеренга, примыкай штыки, задняя, приступите!.. Первые шеренги, на колено!..

Созданная из человеческих тел крепость опоясалась линией штыков и стала неприступной.

– Вот при Петре, – говорил старый человек в рваном камзоле, стоявший впереди толпы на Невской перспективе, – того не было, чтобы отставлять, если не с ноги пошли. Петр, он требовал быстроту. С того у него и победы всегда были. Нонеча – немец. Ему быстрота – ничто... Ему прием подавай, чтобы цирлих-манирлих все было... Вишь, и опять отставили. Чего не пондравилось? Зря только людей морят. Глянь!.. Вон и на спину кое-кого вздели... Капральская палка загулела по солдатской спине... Вишь, не в такту ему взяли. Страшно смотреть, как дуют!.. Немецкие-то обычаи!.. Э-эх!..

Кругом молчали. Кое-кто отходил подальше. Опасный по нынешним временам человек. Бывает и так, сам говорит и сам же поглядывает, кто ему сочувствует, чтобы на того донести. Он-то свой – сухим из воды выйдет, а ты доказывай, что это он говорил, а ты только слушал... Можно и самому на солдатскую спину взлететь и капральской палки испробовать.

Между тем живая крепость распалась на роты, сломалась, и под грохот и треск барабанов опять вытянулся прямой развернутый строй в четыре шеренги построенного полка. Дали оправиться.

Полдень был близок.

Все так же сер и печален был осенний день. Адмиралтейская игла совсем утонула в темных тучах.

Роты повернули направо, взяли «на плечо», построили взводную колонну, вызвали по ротам песенников. Полк потянулся по Большой Немецкой улице к Летнему саду.

Артемий Колчюга завел далеко несущимся в тихом воздухе звонким тенором:

Солдатушки, бравы ребятушки,

Где же ваши отцы?

Песенники дружно, могуче, так что грозным эхом отдалось о хоромы вельмож, ответили с присвистом, уханьем и выкриками:

Наши отцы – бравы полководцы,

Во-от где наши отцы...

Мерным шагом батальоны шли мимо Летнего сада. Колчюга расспросил уже «солдатушек» про всю их родню. Наши матки – были – белые палатки, наши дети – пули да картечи, наши сестры – штыки, сабли востры, наши тетки – две косушки водки... Колчюга все тянул песню, точно выжидая чего-то. Справа над Царицыным лугом показался Летний дворец, где иногда жила цесаревна Елизавета Петровна. Все поглядывали на крайнее окно. Вдруг в нем

отодвинулась штора, раскрылась настежь рама, и в ней, как картина, показался стройный высокий капитан Преображенского полка. Стало видно полное, круглое лицо с маленькими губами, ямочки на щеках, большие синие глаза и волосы, ударяющие в бронзу... Лицо приветливо улыбалось преображенцам...

Колчюга довел голос до предела силы и звонкости:

Солдатушки, бравы ребятушки, —

выводил он с особенной тщательной чеканкой каждого слова.

Кто вам краше света?

Хор, чем-то возбужденный и взволнованный, ответил:

Краше света – нам Елизавета,

Кто вам краше света?

Стеклянное окно тихо закрылось, штора медленно задернулась. Капитана с круглым девичьим лицом не стало видно. Мощный хор ревел на весь город, удаляясь к слоновьему двору:

Краше света – нам Елизавета,

Во-от кто краше света!..

IV

28 января 1732 года, в высокотожественный день рождения императрицы Анны Иоанновны, в половине двенадцатого часа, в придворной церкви Сретения Господня началась Божественная литургия.

Алеша Розум давно готовился к этому дню. Заведующий капеллой, уступая, с одной стороны, влиянию модных итальянских опер, разыгрываемых при дворе

императрицы, и итальянскому пению на куртагах у цесаревны Елизаветы Петровны, с другой – будучи под впечатлением малороссийского пения певческого хора цесаревны, в строгий «знаменный» распев церковного пения литургии, где со времен блаженные памяти патриарха Никона все было установлено и согласовано: возгласы священника, ектении диакона, чтение дьячка и пение клира, где лик небесный «пел и глаголал» и где не только слова, но ни единой ноты нельзя было изменить без того, чтобы не последовало упрека в ереси и нарушении церковных канонов, внес некоторые улучшения. Двор императрицы состоял из немцев, сама императрица, веселая и жизнерадостная, любящая блеск и все иностранное, далекая от «древлего благочестия», не разбирающаяся в канонах, конечно, не обратила бы на эти вольнодумства внимания, цесаревна, вылепленная из петровского теста, где столько было протеста против старинных обычаев, окруженная молодежью и французами, только приветствовать могла всякую новизну, всякий новый шаг за прорубленное ее отцом окно в Европу, притом она была музыкальна и любила красоту в пении, и потому с ее стороны нечего было опасаться критики или замечаний за отступление от старины. Прельщенный голосом Розума регент внес в Херувимскую и «Отче наш» нечто вроде малороссийского «запевка». Розум должен был начать и вести все песнопение один, под сдержанный аккомпанемент хора. Это было большое вольнодумство, и граф Левенвольд и регент очень волновались, как это сойдет.

Успокаивало их лишь сознание красоты голоса молодого хохла, прельститься которою должны были все, и прежде всего ценительница красивых голосов цесаревна. Меньше всего волновался сам Розум. Одетый в длинную, красную, шитую золотыми галунами парадную певческую ливрею, с рукавами, закинутыми за плечи и висящими за спиной, с широким, в галуне кушаком, тщательно выбритый, в белой косе, он спокойно раскладывал на клиросе ноты, испещренные крючками и пометками. За окном в морозном узоре сияло бледно-голубое зимнее небо и блистали на Неве глубокие январские снега. Весь Петербург, острова, залив укутались овчинным тулупом снегов. За окном трещал мороз, в церкви были растоплены две голландские печи, и душное тепло было пропитано запахом ладана, деревянного масла, восковых свечей и ароматом дворцового курения. Маленькая церковь по случаю высокоторжественного дня была полна. Еще шла только проскомидия, и чтец быстро вычитывал на клиросе положенные молитвы, а уже толпились в ней вельможи, сенаторы и первые чины двора в пестрых и ярких кафтанах, придворные дамы в широких фижмах шелковых парадных роб. Впереди было оставлено место для императрицы.

Когда чтец умолк, и перед иконостасом неслышно появился священник с диаконом, и начали кадить иконами, и в церкви наступила тишина, нарушаемая негромким разговором собравшихся вельмож и дам, за дверью раздался легкий стук церемониймейстерской трости, все обернулись к дверям: в них показалось шествие. Императрица Анна Иоанновна, сопровождаемая цесаревной и первыми чинами двора, медленно и торжественно, отвечая легкими кивками на поклоны, следовала в церковь.

Императрица была среднего роста и уже теперь очень полная. В завитых черных волосах была небольшая императорская корона, сделанная из бриллиантов. Темно-красная роба, с драгоценным кружевом на низком вырезе груди, делала ее еще более полной и величественной. На груди висела цепь Андрея Первозванного. Громоздкая, в тяжелом, парадном наряде императрица прошла вперед к золотому креслу на малиновом ковре и стала, опираясь на его спинку. Слева от нее и на полшага сзади стал герцог Бирон, а за ним пестрым, сверкающим драгоценными камнями рядом стали: статс-дама графиня Авдотья Ивановна Чернышева, две сестры Салтыковы, ближние фрейлины императрицы, ее шуты и приживалки.

Розум через головы альтов и дискантов отлично мог рассмотреть императрицу и весь ее двор. Он увидел, как самостоятельно и как-то в стороне от других прошла в церковь высокая, нарядно одетая девушка и стала истово креститься на иконы у Царских врат. Розум сейчас же признал ее. Только раз и в совсем необычной обстановке он видел эту красоту несказанную. Это и была та царевна сказки, что показалась ему, точно сонное видение, которое так поразило его мать. И уже не мог он оторвать от нее зачарованных ею глаз.

Так вот она какая! Простая и вместе с тем какая величественная!.. Seriously, по-православному, по-крестьянски, усердно помолившись, она прошла неслышными шагами вперед и стала рядом с императрицей. Напудренные белые волосы ее нежными завитками локонов спускались к белому мрамору плеч безупречных линий. В ушах бриллиантовые серьги, небольшая диадема из крупных камней в волосах отражали огни свечей и вспыхивали, как ночные светляки в траве. Светло-голубое платье из парчи было перетянута наискось орденой лентой, алмазная звезда была под левой грудью. Девственно прекрасна, стройна и нежна была она в этом дорогом и драгоценном наряде. Она подняла голову к образам, и стали видны глаза дивной красоты, синие, как море в ясный солнечный день, опушенные длинными ресницами. Их точно звездный блеск показался Розуму совсем необычайным.

Священник сказал возглас, хор пропел:

– Аминь.

Розум молчал. Дьяк не спеша, мерным, ровным басом читал ектенью, и хор сдержанно, как поют в дворцовых церквях, пел: «Господи, помилуй». Розум все молчал, точно и впрямь околдованный неземной красотой и царственным величием цесаревны.

Его сосед толкнул его в бок и шепнул:

– Розум, да ты обалдел, что ли, приди в себя.

Только тогда Алеша начал соображать, где он. Он увидел, что позади цесаревны стояла бойкая, не очень красивая девушка, что она смотрела на него, пожалуй, так же внимательно, как он смотрел на цесаревну. Она стрельнула глазами. Розум потупился, девушка подняла глаза, скосила их и улыбнулась. Алеша уткнулся в ноты. Запели псалом:

– Благослови, душе моя, Господа.

За душу берущий тенор Розума выделялся из хора. Прекраснее, чище, сосредоточеннее, углубленнее в молитву стало лицо цесаревны.

Херувимскую Розум пел, все позабыв, сам умиляясь своему голосу, который звучал, как самая прекрасная скрипка. Как сквозь какую-то дымку увидел Алеша, как нагнулась в низком коленопреклоненном поклоне цесаревна и, когда выпрямилась, в глазах ее, как роса солнечным утром, блистали слезы.

Торжественно, умирительно тихо было в церкви. Ни один звук не проникал извне. За окнами ослепительно блистали позолоченные солнцем снега невской шири.

Кончилось многолетие. Колыхаясь юбками тяжелой робы, императрица пошла ко кресту. Приложившись к нему, она стала в стороне и ожидала, пока «духовные персоны чинили Ее Императорскому Величеству поздравление и были допущены к руке»... Певчие оставались на клиросе. В церкви был гул праздничных

разговоров. По принесении духовенством поздравления императрице началось шествие в галерею, где ожидали Ее Величество «приезжие обоего пола персоны».

Певчие попарно, маленькие впереди, стали выходить из церкви. У дверей в галерею стояла цесаревна с графом Левенвольдом.

Когда Розум с ними поравнялся, Левенвольд сказал:

– Алексей Розум, ступай сюда.

Алеша остановился в шаге от цесаревны. Ее лицо было серьезно, и только в глазах играла веселая и добрая усмешка.

– Это ты так славно пел? – сказала приятным и звучным голосом цесаревна и с головы до ног оглядела Алешу. Тот смутился. Густой румянец покрыл его смуглое лицо. Он вспомнил уроки Риты и молча поклонился.

– Я люблю хорошее пение, и я им избалована, – продолжала цесаревна. – Лучше молишься, когда слышишь такое пение, как твое. Душа уходит от земли...

От глаз улыбка спустилась к подбородку, и на мгновение чуть дрогнули уголки маленьких пухлых губ.

– Я тебя видела, Розум... Помнишь?..

Алеша еще гуще покраснел.

– В селе Александровском мы хороводы водили, а ты тем часом ехал в телеге с козацким полковником.

Повернувшись к Левенвольду, цесаревна заговорила с ним по-французски. Левенвольд сделал Алеше знак, и тот пошел догонять певчих, уже спускавшихся с лестницы. Придворные сани-линейки ожидали их. Алеша укутывался в черный плащ и рассеянно слушал, что говорили вокруг него певчие. Сердце его трепетало, какое-то пламя полыхало в нем. Оно было полно обожания цесаревны и готовности все отдать ей. Ему теперь стало понятно то преклонение перед

ней, которое он все эти дни видел в Петербурге. Цесаревна по-французски просила графа Левенвольда уступить ей прекрасного певчего, и граф не мог ей отказать.

Алеша сменил красную ливрею императорского певчего на ливрею брусничного малиново-бурого цвета певчих цесаревны и пере ехал из придворной капеллы в Смольный цесаревнин дом. В нем нашел он многих своих земляков. Духовником великой княжны был священник украинской ее вотчины – села Понорницы – Федор Яковлевич Дубянский, в хоре пели малороссы Тарасович и Божок, камерлакеем у цесаревны был Иван Федорович Котляревский, секретарем Петр Мирович, с ними в комнате помещался слепой бандурист Григорий Михайлов. Как в родную семью попал к ним Розум. У них не переводились горилка и сало. Малороссийские песни не смолкали на их половине. После спевок они валялись на постелях, играли в шашки и в карты, слушали, как играл на бандуре и сказывал старые малороссийские «думы» Михайлов.

Частенько хаживал Розум и к Ранцевым. Он и сам себе не хотел в этом признаться, но сильно затронуто было его сердце бойкой Ритой, которая давала ему первые уроки петербургской жизни. Связь с домом Ранцевых не прерывалась еще и потому, что цесаревна частенько устраивала у себя солдатские ассамблеи, на которых постоянным посетителем бывал сержант Ранцев и где танцевала с фрейлинами цесаревны Рита.

В ближайшую ассамблею, на Масленице, в февральский вечер, были позваны все певчие цесаревны. Большая зала в нижнем этаже, со сводами, была тускло освещена свечами. Длинные столы были накрыты для ужина. На оловянных блюдах были положены жареная говядина, телятина, ветчина, тетерева и глухари цесаревниной охоты, аршинные стерляди из Волги, невские сиги, грибы в сметане, кабанья голова в рейнвейне. В графинах толстого стекла искрились «приказная» – прозрачная, «коричневая» – на корице, «гданская» – на мяте, «боярская», что слеза чистая и такая крепкая, что слезу вызывала – водки, ратафия, рейнские вина, сект, базарак, корзик, венгерское, португальское, шпанское, бургонское, пиво, полпиво, меды – все было сделано не хуже, чем при большом дворе.

Ассамблея началась поздно, в восьмом часу. Собрались унтер-офицеры гвардейских полков, певчие и камердинеры цесаревны, ее фрейлины, всего было человек тридцать. За стол долго не садились. Кого-то, как догадывался Алеша,

ждали, но кого, Алеша о том не спрашивал.

Сержант Ранцев совещался с тонким, худощавым адъютантом Преображенского полка Грюнштейном.

– Вряд ли она сегодня пожалует, – говорил Грюнштейн. Он был в белом парике, скрывавшем его черные волосы. Саксонский еврей, он несколько лет был в полку и хорошо в нем прижился.

– Она нам обещала. Видишь, сколько народу позвано. Никогда она не манкировала такими большими ассамблеями, – говорил чем-то озабоченный Ранцев.

– Я говорю тебе, смело можно садиться. Ты сам знаешь, как точно она. Да я и знаю нечто, что могло ей помешать прийти к нам. Посмотри, как наши дамы хотят скорее отужинать и танцевать.

– Как хочешь, но я бы еще подождал, – нерешительно сказал Ранцев.

– Уверяю тебя, ни к чему. Она не придет. – И, повысив голос, Грюнштейн крикнул: – Камрады и дамы, прошу милости садиться к вечернему кушанью.

Стали усаживаться на длинные скамьи и на табуреты. Дамы садились «по номерам», как то делалось при большом дворе, и имели своими кавалерами тех, кто им достался. Рита сидела рядом с высоким красноносым семеновцем, та фрейлина, которая в церкви делала глазки Розуму, Настасья Михайловна Нарышкина, оказалась рядом с Розумом. Против него оставили пустое кресло.

Как-то очень скоро, под влиянием водки, которой каждый отдавал честь, стало шумно и весело за столом. Тут, там вспыхнула песня, ее поддержали хором, потом оборвали. Нарышкина нагибалась к Алеше и, обдавая его запахом пудры и французских духов, шептала ему комплименты, чем приводила бедного хохла в сильное смущение. У него даже начинала кружиться голова. Шум, гам, крики нарастали. Несмотря на присутствие фрейлин, срывались соленые солдатские слова, и Алеша, застенчивый, как все малороссы, краснея и смущаясь, косил глазом на соседку, та ничего – глазом не моргнет, только еще веселее и заразительнее смеется.

Сосед Риты Ранцевой, рослый капрал-семеновец, поднял руку в голубом обшлаге, приглашая к вниманию, и пьяным баритоном завел на весь стол:

Ива-а-анушка-мушкетер...

Солдаты со всех концов стола, широко улыбаясь, поглядывая на дам масляными глазами, дружно и мощно подхватили:

Мушкетер, мушкетер...

– Ну вот, что задумали петь, – сказала Нарышкина, – стыда у них нет... Солдатчина грубая... Если так пойдет, мы все уйдем.

Песня продолжалась:

На полатях ба...

И сразу на полуслове оборвалась. Так гаснет свеча, когда на нее дунут.

Высокая дверь, ведущая в коридор и на лестницу, распахнулась на обе половинки, за нею показались два арапа-мальчика в красных суконных кафтанах, расшитых золотом. Они несли каждый по тяжелому бронзовому канделябру о пяти зажженных свечах. Сразу посветлело в зале. За арапами шел молодой француз, медик Лесток в светло-синем кафтане, а за ним стройный и прекрасный капитан Преображенского полка, в узком мундире, в лосинах, обтягивающих полные ноги, в белом парике с тонкой косицей с черным бархатным бантом, с обворожительной улыбкой на губах – цесаревна.

Необычайный, неподдельный, искренний восторг охватил всех собравшихся.

– Виват цесаревна Елизавета!.. – дружно крикнули солдаты.

– Виват Елизавета Петровна!.. – подхватили дамы.

– Виват!.. Виват!.. Виват!!!

Цесаревна остановилась в дверях. Быстрым взглядом синих глаз она окинула присутствующих, точно ища кого-то, и глубоким русским женским поясным поклоном ответила на приветствия.

Все пришло в движение. Точно этот поклон сорвал все преграды и толкнул всех к цесаревне. Никто не мог оставаться спокойным. Падали стулья, табуреты и скамьи. Опрокидывались кубки. Первым подбежал к цесаревне Грюнштейн и, припав на колени, поцеловал маленькие пальчики цесаревны. Многие стали на колени, другие простирали руки, глаза горели, слезы блистали в них. Дамы как склонились в придворном реверансе, так в нем и оставались, не выпрямляясь.

– Виват!.. Виват!! Виват!!! – не смолкало по зале.

Растроганная, взволнованная встречей цесаревна еще раз низко поклонилась и пошла в залу. Все расступились перед ней. За ней вошли в залу ее музыканты – итальянцы, скрипки, флейтисты и гобоисты. Цесаревна прошла к оставленному для нее креслу, как бы с некоторым удивлением посмотрела, что против нее оказался ее певчий, еще раз осмотрела всех занимающих свои места и попросила садиться. Против нее всегда на таких ассамблеях садился красавец семеновец, ее камер-паж Алексей Никифорович Шубин.

Она вытянула его из бедности и приблизила к себе. Шубин был сыном владимирского помещика из окрестностей Александрова. Таких бедных и безродных и любила Елизавета – такие преданнее и горячее любят.

Да, Шубина не было на ассамблее. Семеновец был только один – красноносый капрал, имени его Елизавета Петровна не знала. Он был пьяница и похабник, а таких людей цесаревна не переносила. Ее лицо омрачилось. Неужели была правда в тех слухах, что дошли до нее сегодня? Утром ее чесальщица пяток, разбирая и переминая маленькие розовые пальчики ее ног, рассказывала ей нечто такое страшное, о чем она слышала в городе, что цесаревна отказывалась ей верить. Из-за спины цесаревны нагнулся Грюнштейн. Она увидела алый обшлаг преображенского мундира, кружевные манжеты и бутылку в руке.

– Ваше высочество, венгерского?..

– Налей немного...

– Что прикажете закусить?..

Ей было все равно. Она мало пила и ела – боялась располнеть. С ее приходом в зале стало тише. Кто подвыпил – подбодрились: цесаревна не любила пьяных, брезговала ими и боялась их. Итальянцы музыканты разместились в углу и начали играть. Шел сдержанный, негромкий разговор. Цесаревна казалась очень рассеянной.

«Может быть, – думала она, – все это были только глупые, ни на чем не основанные петербургские сплетни? Алеша, может быть, просто на службе или нездоров... – Она хотела спросить о Шубине семеновского капрала, но воздержалась. – Опять пойдут: “эхи”!..»

Она нагнулась к Лестоку и сказала ему, чтобы он приказал итальянцам играть танцы.

Певучие звуки менуэта раздались по зале. Стол отодвинули к стене, табуреты и скамьи перенесли к стенам, очистили место для танцев. Обыкновенно она начинала – с Шубиным. Семеновский сержант танцевал тогда с преображенским капитаном. Было очень красиво – совсем статуэтки севрского фарфора.

В ушах ее мягко отбивался веселый, шаловливый такт: раз, два, три, раз, два, три... Гости чинно сидели у стен, никто не осмеливался начать до нее: она должна была открыть танцы. Она преодолела свои грусть и заботы, встала и, не думая ни о чем и никого не выбирая, подошла к молодому певчему в брусничного цвета кафтане и подала ему руку.

«Раз, два, три... раз, два, три», – играла музыка. Рослый певчий – он был выше ее – танцевал очень плохо. Она подсказывала ему, поправляла, чувствуя в своей руке его горячую дрожащую руку, смущалась от его восторженного взгляда. Сзади задвигались другие пары.

Цесаревна кончила тур и сама подвела певчего к Ранцевой:

– Рита, поучи молодца.

Алеша был совершенно уничтожен, он бы охотно исчез сейчас, провалился сквозь землю. В опытных руках Риты дело пошло у него лучше.

После танцев играли в «рукобיתье». Связали длинную ленту, стали кругом, держась за нее; стать в середину по жребии досталось семеновскому капралу. Он старался ударить по рукам держащих ленту, но руки отдергивались перед ним, он промахивался и получал длинные «носы» и звонкий смех расшалившихся фрейлин. Наконец, ему удалось хватить – и пребольно – Алешу.

– Фант! Фант!.. – закричали играющие. – Ваше высочество, назначьте ему фант!

Цесаревна, не принимавшая участия в игре и снова поддавшаяся тяжелому раздумью, рассеянно посмотрела на певчего, на бандуру, лежавшую в углу на столе, и сказала:

– Спой нам песню, какую хочешь. – Она сказала это так, чтобы что-нибудь сказать, но как только сказала, сейчас же задумала, если споет этот красавец певчий веселую песню – значит, с Шубиным ничегошеньки, ничего не случилось, если печальную – пиши пропало. Она сознавала, что это глупо, но поддалась этому и с некоторым волнением ожидала, когда Алеша начнет петь.

Подталкиваемый другими певчими великой княжны, Алеша взял бандуру и стал настраивать ее. Итальянцы заинтересовались невиданным инструментом и подошли к нему. Цесаревна села в кресло и протянула ноги в ботфортах, сзади нее стали Нарышкина, Рита и Грюнштейн, остальные сели по скамьям и табуретам. Перебор струн был печален, аккорд раздался надрывным стоном.

Задумчиво стало лицо Розума. Густые черные брови нахмурились, мрачный огонь загорелся в темных прекрасных глазах. Он наложил ладонь на струны и, притушив их стон, сказал, вставая:

– Треба знати, ваше высочество, що буду спивать?

– Пой, что на душу ляжет.

– А ну, заспиваем проби ради.

Грустная и нежная раздалась песня:

– Добри вечир тобі, зелена дубраво...

Переночуй хоч ниченьку мене, молодого.

– Не переночую, бо славоньку чую

А про твою, козаченьку, головку буйную...

Звонящие аккорды струн прервали на миг песню. Розум продолжал с большим чувством:

– Добри вечир тобі тии, темный байраче...

Переночуй хоч ниченьку ти волю козачу.

– Не переночую, бо жаль мени буде,

Щось у лузи сизии голубь жалибненько гуде.

– Вже ж про тебе, козачоньку, й вороги питают,

Що да я й ночі в темном лузі все тебе шукають,

– Гей, – як крикне козаченько, – до гаю, до гаю!

Наизждайте, ворининьки, сам вас накликаю!..

Печальная была песня. Не рассеяла она черных предчувствий цесаревны.

Цесаревна ушла с ассамблеи раньше, чем уходила обыкновенно. Арапы с канделябрами пошли впереди, освещая ей путь по темным коридорам и лестнице, за арапами шел Лесток, за ним цесаревна.

– Грюнштейн, – сказала она, проходя мимо адъютанта Преображенского полка, – следуй за мною.

Черные тени следили за ними по коридору и метались с полыханием пламени свечей.

По мраморной лестнице цесаревна поднялась в свои покои и вошла в уборную. Сонные девушки повскакивали с кресел. В уборной было темно. Один ночник мерцал мелким ничтожным пламенем. Арапы поставили канделябры перед зеркалом. Темнота ушла из комнаты.

Елизавета Петровна села в кресло, девушка накинула на нее пудромантель, парикмахер стал снимать парик и убирать цесаревне волосы на ночь. Парикмахер был калмык, девушки – русские.

– Dites moi, Грюнштейн, – сказала цесаревна и продолжала по-французски: – Только не называйте здесь перед слугами имен... Сие есть правда, страшные «эхи», что дошли до меня сегодня? Почему его не было на моей ассамблее?

– Он не мог быть, *princesse*. Он арестован и посажен в каменный мешок.

Краска сошла со щек цесаревны.

– Что же случилось?

– На прошлой неделе в одном обществе он говорил про вас. Он сказал, что напрасно выбрали и посадили на трон Анну Иоанновну и позабыли про истинную наследницу, про дочь Петра Великого.

– Только и всего?

– Вполне достаточно, *princesse*. Ваше высочество знаете, в какое опасное время мы живем. О неосторожных словах сих донесли. Он – русский... Он вами был отмечен и превознесен, его взяли на допрос. Ваше высочество, знаете, что сие значит...

– Не может сего быть!.. Неужели вы думаете?..

– Его пытали... Кнут... вырезывание языка... Камчатка... неизбежны.

Цесаревна закрыла ладонями лицо. Как!.. По этому нежному телу будет?.. Нет!.. Уже гулял кнут палача?.. Прекрасное лицо изуродовано?.. Томный голос пропал?.. Нет!.. Нет!.. Нет!.. – она кричать была готова, точно она сама

перенесла всю эту страшную пытку.

– Я пойду молиться, – сказала она Лестоку и Грюнштейну.

Когда те вышли, она с таким необычным и несвойственным раздражением крикнула парикмахеру:

– Скорее, братец, что так копаешься! Не покойницу, чаю, убираешь! Живой человек перед тобою!

Отпустив парикмахера, она прошла в опочивальню. Девушки раздели и разули ее. Она прогнала и их. Хотела быть одной. Все опостылело и стало противно ей здесь.

«Шубин... Шубин, – беззвучно шептали ее губы. – Алеша, милый, как же так? Все кончено? Навсегда? Плетьми? С вырванным языком?.. Сослан?.. Это они мне мстили!.. Ему за меня!»

Не могла представить себе всю непоправимость несчастья. В ушах звучала только что слышанная песня:

– Не переночую, бо жаль мени буде,

Щось у лузи сизии голубь жалибненько гуде...

«Сизый мой голубь, Шубин, где ты?..»

На ночном столе в бронзовом шандале мигал ночник, в углу, у божницы, в малиновом стекле теплилась лампада. Цесаревна опустилась на колени. Долго смотрела она на темный лик и точно пытала его. Знала она, что уже ничего нельзя сделать, что надо смириться, надо себя сберечь. Ничто, – ни то, что она дочь Петра Великого, великая княжна, цесаревна, любимая народом... Любовь народа даже в вину ей поставят, – ничто не может помочь ей спасти и избавить от пытки и ссылки Шубина. В памяти вставали восторженные виваты, которыми ее только что встречали, вспоминалась громовая песня, слышанная ею осенью, когда мимо дворца шел с учения Преображенский полк.

– Краше света нам Елизавета,

Во-от кто краше света!!

Все это – обман... ничто... любовь народа... ее солдат... Ни к чему!.. Следят, подслушивают, тысячи ушей приложены к замочным скважинам ее дома, тысячи глаз подсматривают за нею и обо всем доносят... Нет, что уж... куда уж... за Шубина заступаться!.. Надо себя спасать... Свою красоту избавить от плетей, от урезания языка, от ссылки в далекие полуночные края.

Она засветила свечу и долго звонила в бронзовый колокольчик, пока заспанная девушка не явилась к ней.

– Скажи Чулкову... Лошадей чтобы на завтра с утра приготовил и возок – в Москву поеду, – расслабленным голосом сказала цесаревна. – Да чтобы отец Федор раненько пришел молебен служить...

Когда пришло решение – стало спокойнее на душе. Цесаревна лежала на спине. Мысли неслись в ее голове, лишая сна. Поехать в «его» Александрово и там в александровском Успенском монастыре принять иноческий чин. Уйти совсем от гнусного мира доносов, пыток и казней и молиться... молиться... молиться!..

Прекрасное тело, разогретое танцами и волнением, благоухало пудрой и французскими духами под пуховым одеялом. Каждой жилкой, каждым нервом ощущала его молодая женщина и сквозь темные мрачные мысли не могла остановить биения крови, радости жизни, счастья дышать и быть молодой и здоровой... Напрасны печальные мысли! Никогда этого не будет, никогда ни в какой монастырь она не пойдет. Жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Грешное тело никуда никогда не пустит взволнованную, потрясенную, растерянную душу.

Утром, после молебна и долгой беседы с отцом Федором, цесаревна села в крытый возок на полозьях и помчалась в Москву в тайной надежде, что ничего не было, что она найдет Шубина живого и здорового в селе Александровском.

Перед отъездом она призвала к себе Лестока и велела передать ее поклон «хорошему воспевавшему, товарищам, а особенно Алексею Григорьевичу» и приказала назначить его к себе камердинером и считать наравне с другими камердинерами Чулковым, Полтавцевым и Штерном, отпускать ему: «к поставцу ее высочества, окромя банкетов и приказов – водки, вина и пива, через день и

два – водки и вина по кружке, пива по четыре в каждый день» – и именоваться ему впредь Разумовским...

V

Цесаревна Елизавета Петровна возвратилась из Москвы только в мае следующего года. Она заехала в Петербург на один день – заявиться к большому двору. Ей тяжело было видеть тех, кто мучил и изуродовал ее любезного – Шубина. При большом дворе ее не жаловали и опасались. Императрице Анне Иоанновне было не до нее. Занятая нарядами, лошадьми, птицами, а больше всего Бироном, стареющая, дурнеющая, она не любила, когда подле нее была красавица цесаревна. Она рада была желанию великой княжны поселиться уединенно в петергофском Монплезира́рном дворце.

Как ни разжигала в себе цесаревна огонь раздражения, негодования и скорби о Шубине – время заливало и гасило его. Печаль, тоска воспоминаний о прошлых сладостных утехах постепенно проходили, и с первыми вздохами весны, с запахом ландышей, березовых и тополевых почек вставали такие жгучие живые воспоминания о недавнем прошлом, что цесаревна не могла с ними бороться. Она постилась, молилась, часами не вставая с колен, скакала на лошадях по полям и лугам до утомления, гребла на лодке по заливу и каналам, ходила с французским коротким мушкетом на тягу вальдшнепов у Темяшкинского леса, до одури танцевала менуэты и англезы со своими придворными, с доктором Лестоком, с Алексеем Григорьевичем Разумовским, с Ранцевым, наблюдала, как ловила в амурные сети лукавая, страстная и не очень красивая Настасья Михайловна, часами слушала игру итальянского оркестра и французское пение. Охотничьи арии, пастушеские песенки – бержери, бокажер, водевили, мюзетт, рондо, менуэты, гавоты – сменялись в сладких и нежных напевах. Французская музыка, французский язык будили другие мысли о том, что могло случиться и чего не было и где вместо радости было жгучее оскорбление, плоть не утихала, не смирялась. Каждое утреннее бормотание дроздов в соснах и липах монплезира́рного сада, дневной ропот фонтанных струй и звон бегущих мимо дворца ручьев, дремотный шепот тихих волн залива, ночные песни соловья – все говорило ей о радости жизни, о том, что она молода и пока молода, ей надо жить... и любить...

Грех это, грех... Она шла молиться. В низкой и тесной моленной неярко и таинственно горели лампы. По одну сторону ее стояла божница, и на коврах перед нею на низком напольном лежали служебные книги, молитвослов ее отца в тяжелом кожаном переплете – по другую было заслоненное тюлевою занавесью окно во всю стену до самого пола, и за ним голубеющее на раннем утреннем солнце море. «Если око твое соблазняет тебя – вырви его...» Легко сказать! Как вырвать эти прекрасные глаза, на которые она сама не могла вдоволь налюбоваться. А как их любил Алеша!.. Как до боли целовал их сквозь тонкие веки! Да тут и не глаз надо вырвать.

Глаз она успокоит прекрасной природой, лошадьми, собаками, метким выстрелом... Самое сердце надо вырвать. Как стучит и колотится оно под просторным шлафроком, как волнуется, когда стянет его корсет нарядной «самары», или военный мундир, или охотничий кафтан доезжачего. Вырвать его?..

Из моленной она шла в гардеробную, часами примеряла и переменяла платья, замучивала фрейлин и портних, ездила сама в Петербург к золотошвейкам и кружевницам, вызывала к себе приезжих из Франции купцов, покупала шелка и кружева, примеряла парижские костюмы. Все – чтобы успокоить, уговорить сердце, а оно только пуще растревалось, и стоило ей лечь в постель, войдет сквозь неплотно стянутые шторы мутный свет белой ночи, станет слышен запах моря, деревьев и цветов сада, шепот волн и трели соловья войдут в спальню – и тысячи безумных мыслей одолеют ее, запалют огнем щеки, прогонят сон, – и нет спасения от метких стрел шалунишки Амура.

Два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, у нее – куртаги. Приглашены только свои. Зала Монплезира дворца мала и тесна, да цесаревне и не хочется видеть чужих, тех, кто мучил и судил ее Шубина. Свой двор: милый и всегда любезный Лесток, всюду поспевающий Грюнштейн, высокий солдат Ранцев и его резвушка сестра Рита, ее «черкасы» – Разумовский, Тарасович, Божок... Простые все «персоны», ни в каких боярских книгах не записанные, чиниться с ними не надо. Все петербуржцы да хохлы – дети сподвижников ее отца, героев Нарвы и Полтавы.

Играют в шахматы и карты – в ломбер, за особыми маленькими, квадратными, зеленым сукном крытыми ломберными столами. Немного и не слишком чинно танцуют, пьют чай из маленьких чашечек китайского фарфора, едят

мороженое... Вина немного – легкого и вкусного. Итальянский квартет тихо играет – Баха, Моцарта... Поет приезжая французская певица, Елизавета Петровна смотрит, как идет кругом нее любовь, которую она сама так хочет прогнать из своего сердца; Ранцев сохнет и тает от пения француженки, Наталья Михайловна расставляет сети бедному Разумовскому, и неслышно летают больно ранящие стрелы Амура.

Ей рыдать хочется в эти вечерние сладкие часы невинных утех и услад или опять, как в те грустные дни, когда пришло известие о смерти ее жениха, епископа Любской епархии Карла Августа Гольштейнского, бросить все и – если «око твое соблазняет тебя» – пусть!.. отдаться лукавому соблазну и снова любить... любить... любить!..

Избитый, изуродованный, в далекой Камчатке вдруг призраком станет Шубин, как угроза и ей самой, – и станет страшно... Какое ужасное, жестокое время теперь... Как все это изменить?..

Без конца тянется вечер. Кажется, никогда не зайдет солнце. Все общество вышло на мраморную площадку, мощенную в шашку черными и белыми плитками, на самом берегу моря. Низкая мраморная белая балюстрада пузатыми столбиками-бутылками отделяет ее от залива. Серебристый песок намыт к краю балкона, молодые камыши тихо колеблются, когда длинная и низкая волна медленно набегает на них с дремотным шепотом. Лиловой дымкой залив подернут. Шведский берег до самого Лисьего Носа прочеркнут четкой линией, над ним бездонно зеленовато-синее небо. Влево серые, низкие верки Кронштадтской крепости темнеют, а над ними красным полымем неугасимо пылает закат.

В углу за ломберным столом играют в карты без свечей. Карты лежат неподвижные, ничем не колышимые. За длинным домом Монплезира молодые ели, липы и дубы не шелохнутся. Птицы там гомонят, укладываясь на ночь.

Молодежь расшалилась. Рита водит по мраморным шашкам Алексея Григорьевича – учит его англезу. Ранцев разговаривает с Нарышкиной, а сам все оглядывается на раскрытые двери дворца, откуда доносится стон настраиваемой скрипки и мягкий звон клавикордов. Там накрывают на шести «штуках» ужин.

Цесаревна, в мужском костюме, в серебристо-сером кафтане, белых атласных панталонах, в чулках с пряжками и башмаках, присела на балюстраду и, прищулив глаза в длинных ресницах, смотрит на море. Закатное небо золотит ее щеки, волосы загораются бронзой. Подле нее Лесток, Грюнштейн и группа гвардейской молодежи.

– Рита, – говорит она томным голосом, – будет тебе мучить Алексея Григорьевича. Садитесь, камрады, на зеленую скамью и слушайте: будет игра в буриме.

Игравшие в карты послушно поднялись от стола.

– Будет игра в буриме, – повторяет Грюнштейн. – Ее высочество назначает. Что изволите назначить, ваше императорское высочество?

– Лира и... чудиха...

– Камрады... Дается: «лира» и «чудиха»...

– Отдать за лиру – готов полмира, – говорит молодой Михайла Воронцов, – вот насчет чудихи... Никак не придумаю... Бегут волчихи, как после пира...

– Ну, знаете, как в лужу, – говорит красноносый семеновец.

– Тише ты, косматый Вакх, – строго останавливает цесаревна. – Рита... Что ты предложишь?..

– Ваше высочество, – приседая в низком «придворном» реверансе, говорит Рита, – я – пас...

– Кажется, твой брат что-то придумал.

– О, Ранцев совсем не поэт, – кричит Грюнштейн, – ну, валяй...

Ранцев встает и, глядя в столовую, говорит, слегка запинаясь:

Совсем забыл свою я лиру,

Другому кланяюсь кумиру...

Уже женат: жена чудиха,

В мозгу, в дому неразбериха...

– Знато, – говорит цесаревна.

– Не верьте ему, ваше высочество! – кричит Грюнштейн. – С лирой никогда Ранцев не был дружен, ее забыть ему нетрудно... А вот ежели он да воинский артикул станет забывать, то и будут ему палочки... Кумир у нас у всех один... И сержанту Ранцеву жениться?.. На ком?.. На чудихе?.. Франко-русская дружба нам самим Петром Великим заповедана... Разве она чудиха?.. Перл!.. Диамант чистейшей воды!..

Точно продолжая его слова, в этот миг кончилась настройка инструментов, клавикорды проиграли ригурнель вступления, и молодой мечтательный, прекрасный голос понесся по морю:

– Люби меня, пастушка, я полюблю тебя,

Другой служить не буду подруге никогда.

Любовь – веселье, рай в прелестный месяц май.

Любовь – веселье, рай, – прелестен месяц май.

Ведь это рай – веселый месяц май...

И опять забрызгали, упавая каплями студеной струи, звуки клавикордов.

Цесаревна смотрит на стоящего у дворцовой стены Разумовского. Как строги и благородны черты его смуглого лица! Как тонки и породисты его руки!

Полковник Вишневский говорил: «Мальчиком он был пастухом...» Она не была никогда пастушкой. Как-то, правда, в маскарадах наряжалась пастушкой... Если явлюсь к нему в таком наряде, что скажет он мне?.. Посмеет ли что сказать?

Цесаревна вскакивает с балюстрады, делает знак Нарышкиной и бежит с ней в гардеробную. Все девушки подняты на ноги. К ужину цесаревна выйдет в костюме пастушки.

За ужином она так хороша в этом костюме, что глаза всех сидящих за столами постоянно обращаются к ней. Итальянская музыка играет. Скрипка нежно поет, ей вторит флейта, и звенят, звенят клавикорды. Цесаревна сидит против Разумовского. В ее глазах бешено горят огни страсти. Она держит в зубах стебель ландыша и сквозь зубы шепчет:

– Люби меня, пастушка, я полюблю тебя,
Другой служить не буду подруге никогда.

За соседней «штукой» сержант Ранцев, красный, смущенный, краснее своего преображенного камзола, напевает черноволосой, веселой француженке певице.

Он льет весеннее пиво в кружку и не видит, что та полна, – льет на скатерть, пока Грюнштейн не дергает его за рукав. Месяц май стоит над Монплеziром. Все небо в розовом закате, на востоке плавится золото – уже спешит туда солнце. Залив как серебряная парча. Шведский берег чеканной чернью обрамляет его. В парке за раскрытыми настежь окнами немолчно щелкает соловей.

Амур натянул тетиву и пускает стрелы. И каждая находит свою жертву.

VI

Лето идет свежее, прохладное, с частыми дождями. Бурно вдоль приморской дороги цвела сирень, стояла в ароматных букетах лиловых и белых кистей. Цесаревна ходила по этой душистой аллее, фрейлины и кавалеры резали ей ветки, она опускала в них, прохладных и душистых, еще мокрых от пролившегося утром летнего дождя, разгоряченное лицо, вдыхала сладкий запах, а потом, щуря прекрасные глаза, искала в них цветы о пяти лепестках – свое счастье и, когда находила, съедала горьковатый цветок, чтобы загаданное сбылось. Но что было загадано – она и сама не знала. То, что было, того не вернешь...

Позднее вокруг Монплезира пышно цвел густо разросшийся жасмин, и приторен был его голову кружащий запах. В аллеях зацвели липы. Девушки собирали их цвет, чтобы было что заварить в случае лихорадки. В пруде, у кубической формы дворца Марли, чмокали в иле караси, посаженные туда еще ее отцом, и приплывали на звонок сторожа за хлебом. Полон затей и чудес был петергофский парк, а все не мог развлечь и успокоить ее смятенную душу.

В конце июня цесаревна ездила в Санкт-Петербург. Там с пушечной пальбой с верхов Петропавловской крепости и с кораблей, стоявших на Неве, 27-го числа праздновали память Полтавской виктории. Ее поздравляли как дочь победителя. Она видела, как недовольно хмурилось полное, мясистое лицо императрицы, и спешила скрыться, боясь колкого замечания, обидного слова Бирона. 29 июня, в день святых Петра и Павла, в памятный день тезоименитства ее родителя, она «изволила шествовать на барже, водою, в Санкт-Петербургскую крепость и по прибытии, в церкви святых верховных апостолов Петра и Павла изволила слушать Божественную литургию, а после нее панихиду».

В июле цесаревна вернулась в Петергоф. Ночи стали темнее, короче дни. Ночью над заливом месяц вставал, и парчовая, искрящаяся, точно живая дорога шла по волнам к шведскому берегу. Кругом смоляно-черным было море, и далеко были видны огни на клотиках мачт проходящих кораблей.

Пока было лето, цесаревна справлялась с собою, поборолла «борющие ее страсти». Часто наезжал в Большой дворец двор, за Фонтанным каналом на заливе фейерверки горели, бенгальские огни освещали фонтаны. В парке военная музыка гремела, громыхали барабаны и били литавры. Полки Петербургского гарнизона ходили на маневры под Ораниенбаум, и, когда останавливались на Петергофском поле на бивак, всю ночь горели там смоляные бочки и костры, пели песенники и играли волторнисты. Цесаревна ездила верхом по биваку на прекрасном жеребце в капитанском мундире Преображенского полка, солдаты бежали за ней и кричали: «Виват!»

С августа пошли дожди. Море глухо шумело, и серые, графитового цвета валы гуляли до самого Петербурга. Они мчались с грозным рокотом к берегу, заливали мраморный балкон Монплезира и докатывались до цесаревниной спальни. Западный ветер выл с неистовой, жестокой силой и сбивал листья с лип и кленов. Ели и лиственницы гнулись и качались в сером небе под косыми струями холодного осеннего дождя. Итальянские певцы и музыканты уехали в Петербург. Французская певица лежала в больнице с простуженным горлом.

Сыро, темно и неуютно было в низких петровских комнатах Монплезира.

Окруженная фрейлинами и горничными цесаревна стоит в гардеробной у большого зеркала. Стенные кинкеты зажжены, и на подзеркальниках факелами пылают канделябры. От пламени свечей в комнате дымно и жарко, пахнет душистыми ворохами материй, вспотевшими девушками, тающим воском и ладаном черных курительных «монашек».

Как богиня в пламенных отблесках свечей – цесаревна. Она сменяет одно платье другим. То стоит она в бальной робе соломенного цвета с серебряным и фиолетовым гарлантовым туром из гризета, тяжелая и величественная, как китайская богиня, то наденет парижскую, изящную, легкую «самару» розового цвета с серебряным, гарлантовым туром и малыми фижмами и станет похожа на грациозную куколку севрского фарфора, то в «адриене» из белого гродетюра, шитой мелкими цветами, длинная и тонкая, сама на себя залюбуется.

«Адриена» падает белыми лепестками к ногам цесаревны, и она в исподнице: в белой марсельской юбке и кунтуше... В задумчивой неге снимет исподницу... мраморное изображение той самой Венус, что привез ее отец из Италии и поставил в Летнем саду, отражается в зеркале. Огни свечей золотят прекрасное, влажное от жары и утомления, блистающее в округлости плеч и груди тело.

Цесаревна медлит надеть подаваемую ей служанками свежую валендорскую рубашку.

Кому?.. Кому она отдаст это тело?.. Проходят дни, слагаются в месяцы... Она будет стареть... Что угодно! Только не старость!..

Цесаревна руками задерживает рубашку над собою. В полном расцвете двадцать третьей весны ее тело. Ни одного пятнышка, ни одной морщинки на нем, и, как лепестки бледно-розовой розы, – ее прекрасные холодные колени. Таких ног, такой совершенной красоты нет на свете. Она прекраснее самой Венус...

С тихим вздохом она отдается в руки горничных и одевается в мужской костюм. На ней кафтан, камзол и парчовые по голубой земле панталоны, расшитые мелкими серебряными «травками» и подбитые белой тафтой. Пуговицы на

кафтаны золотые, петли обшиты серебряным узором по пергаменту.

Как стройна и как женственно красива она в этом костюме!

Безумная, неистовая грусть охватывает ее сердце. Сорвать с себя платье, кинуться на диван, заваленный материями, и рыдать, рыдать, рыдать!..

VII

Осенний день был серый и туманный. Глухо било море темными валами о кирпичные стены балкона – не могло успокоиться после вчерашней бури. Очень похолодало. В восемь часов утра еще было темно. С голых ветвей падали капли в длинные лужи аллей. В монплезином саду были голы деревья. Лужайки были покрыты побуревшими листьями, и девушки-работницы сгребали их в кучи. В лесу, у озера Порзоловское-Ярви, были обложены для цесаревны лоси. Цесаревна ехала туда верхом с мушкетами, сопровождаемая опытными охотниками.

В Фонтанном канале вода казалась черной и дымилась голубоватым паром. Она грустно шумела у става и сливалась прямым потоком зеленого стекла.

По черной, глинистой, грязной дороге, усыпанной листом, мягко ступали лошади, и не слышна была их поступь. Охотники молчали. Чуть поскрипывало новое седло под цесаревной. Охота проносилась по улицам Петергофской слободы, как некое видение. В бедных бревенчатых домиках желтыми пятнами светились огни, дали были затянуты серой дымкой тумана, жемчужная россыпь мелких капель серебрилась на бледно-голубой епанче цесаревны.

За деревней Большой Симоногонд спешили, оставили лошадей на окраине деревни, и старик охотник повел цесаревну в лес к ее лазу.

Серые сосны по мшистому, пологому берегу спускались к болоту, поросшему мелкими кустами можжевельника и голубики. В природе сумрачно и грустно было. Кругом – мох, кочки и по ним чахлая сосна, кривые березы с черными листьями и густая поросль черники. Вдали сизым паром дымилось озеро

Порзоловское-Ярви.

Охотник испросил у цесаревны разрешение курить. Терпкий запах крепкого кнастера примешался к спиртному аромату можжевельника и сосны.

Цесаревна смотрела на плохо бритое, с седой щетиною, бурое лицо охотника, на его рваный армяк, плоско висящий на худом теле, на Полтавскую медаль на груди.

– Ты, старина, моего отца помнишь? – спросила цесаревна.

– Как мне не помнить Отца Отечества!.. Вот как сейчас тебя вижу, так и его не раз видал. В Преображенском полку с семьсот пятого года!.. В Полтавской баталии рядом был...

– Он храбрый был?.. Мой отец...

– Храбрый?.. Я так тебе скажу... Он более чем храбрый был. Мне офицера сказывали: он от природы не весьма храбр был, но слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал такое мужество, что не токмо не умаляет его великости, но еще утверждает ее.

Цесаревна внимательно взгляделась в охотника.

– Ты дворянин?

Охотник встrepенулcя, подтянулcя, cпрятал трубку в карман и, показывая на свой отрепанный зипун, c горечью cказал:

– Все мы – петровские дворяне... Ныне мы без надобности. При прошлом царе, Петре Втором, московские бояре голову подняли, а ныне немцы... Петра Великого нет... Он человека различал не по роду, а по заслугам.

Охотник помолчал немного и негромко продолжал:

– На твою милость, цесаревна, петровские надежу имеют. Тебе, а не кому-либо иному-прочему царствовать надлежит...

– Тш-ш!.. Тише!.. Молчи!..

– Да я и молчу...

Цесаревна вспомнила про Шубина. Вот за такие самые речи ему резали язык... И она не годится для этого... Она тоже, как ее отец, от природы не весьма храбра... Сумеет ли в нужную минуту преодолеть слабость свою рассуждением?.. И какая это будет минута?.. Минута борьбы за власть и престол или просто минута борьбы со страстями?..

Далеко за озером раздались неясные крики: «А-а-о!.. А-о!.. У-а!.. Держи, держи его!!!! Ах!..»

Испуганный заяц, громадный беляк, близко взметнулся за можжевельным кустом, увидал охотников, растерялся, привстал тумбочкой на задние ноги, насторожил уши и помчался мимо цесаревны в чащу высокого леса. Гон приближался, но собаки не подавали голоса.

– Должно, пропустили, – со вздохом сказал охотник и опустил запасной мушкет, который держал для цесаревны готовым, с порохом, насыпанным на полку, и взведенным курком.

В мелкой сосне, за дымным переплетом тонких серых стволов замелькали темные тени загонщиков.

Охота не удалась. Лоси прошли, не замеченные ни людьми, ни собаками, сквозь загон. Осенними сумерками возвращалась цесаревна в Монплезира́ный дворец. Так рано ее не ожидали. В окнах дворца нигде не было света. Цесаревна соскочила с коня, потрепала его по крутой шее, дала ему корку хлеба, густо посыпанную солью, поцеловала в нежное место между храпками и быстрыми шагами вошла во дворец. Она прошла через пустую прихожую и через столовую в будуар. Как только она открыла дверь, высокая фигура в белом бросилась в коридор, а с дивана раздалось томное, испуганное: «А-ах...»

У двери чуть горел в чашке с водой ночник. Цесаревна зажгла восковой фитиль и засветила свечи в канделябре. С золоченого дивана, обитого красной материей,

поднялась фрейлина Настасья Михайловна. Она была в ужасном виде. Камыши фижм были поломаны, и разорванная юбка висела, как крылья бабочки, попавшей на огонь. Ноги, одна в башмаке, другая босая, с сорванным чулком, поспешно перекидывались с дивана на пол. Из расстегнутого корсажа выбилась смятая рубашка, и над нею пылало пунцово-красное лицо с испуганными глазами в широких синяках. Прическа была смята: на голове в беспорядке перемешались проволочный каркас, черные пряди волос и бумага...

– Настя, что с тобою?.. – воскликнула цесаревна. – Бесстыдница!

– Ваше высочество!..

Настасья Михайловна вскочила и, хромая – одна нога обутая, другая босая, бросилась к цесаревне и упала перед нею на колени.

– Ваше высочество... Простите...

Горячими, сухими губами она прижималась к холодной руке цесаревны, и та чувствовала, каким огнем горели ее щеки. Цесаревна подняла фрейлину и повлекла ее в свою уборную. Там, замкнув дверь, в темноте, при свете одного маленького ночника, усадив ее на маленький угловой диванчик, цесаревна села рядом и, взяв за руку Настасью Михайловну, строго сказала:

– Твоим проказам, Настька, конца-краю нет... Говори как на духу. Признавайся во всем... Ты хотя бы, сударыня, во дворце-то постыдилась любовными шашнями заниматься.

– Ваше высочество... Ей-богу, я...

– Да не божись, по крайней мере... В таком деле. В какие еще сети завлек тебя Купидон?..

– Ваше высочество... Ей-богу, я... Он прямо-таки измучил меня... Чистый зверь...

И пошел тихий шепот исповеди на французском языке, на котором легче казалось несказуемое сказать. Еще тише, чуть слышным шелестом шепчут горячие губы.

Ее камердинер Алексей Разумовский!.. Какая наглость, какая дерзость и какая бешеная страсть!

– И дальше?..

Они шалили, как дети, все утро и весь день.

– Все это прекрасно, милая моя Настасья Михайловна, но посмотрите на себя в зеркало, на кого вы похожи!.. Ступай к себе, приведи себя в порядок и оденься прилично. Вы, сударыня, во дворце цесаревны-девушки... А ему пошли сказать, чтобы и на глаза мне не смел показываться. Каков пастушок!.. Ступай!..

Гремя тяжелыми охотничьими сапогами, забрызганными грязью, цесаревна прошла в гардеробную. Гневно, звонко, нетерпеливо и продолжительно зазвонил ее литой бронзовый колокольчик, призывая девушек, чтобы помочь ей раздеться.

Ночью, при свете одинокой свечи, горящей в изголовье, цесаревна читает – «Дафнис и Хлоя». Прекрасная книга издания 1718 года с рисунками, наивно неприличными, давала ей урок любви, какой она не знала с Шубиным.

Она только что была в бане, где парилась после утомления охоты. Она лежала в постели, чесальщица пяток сидела на низком табурете у ее ног и осторожно почесывала, разминая еще сырые, полные, нежные пятки, перебирая маленькие пальчики, и шлифовала розовые ноготки. Тревожные, щекочущие мураши пробегали под кожей по ногам, и сладкая истома охватывала все ее молодое крепкое тело.

Хлоя и Дафнис!.. Он тоже был когда-то пастухом и, по словам Настасьи Михайловны, показал столь необычную в его годы наивность... Дитя природы!..

Цесаревна мечтательно улыбается. Она поджимает колени, отталкивает чесальщицу: «Иди к себе, Маврушка, довольно, смех душит...» Приближает книгу к потемневшим глазам и продолжает читать... По-французски все это не кажется таким неприличным... Но какие картинки!.. Как им не стыдно было рисовать такое!.. Это грех – читать такие книги... Грех?.. Ну что же – она

покается... Все фрейлины читают такие книги. Лучше все это оставить...

«Но избави нас от лукавого», – шепчет цесаревна и гасит свечу.

В низкой комнате с окнами до полу ночник и лампадка льют мягкий, обманчивый свет. Прошуршал шелк натягиваемого к подбородку одеяла. Стали в темноте слышнее звуки дворца: за стеною со смехом укладываются спать фрейлины, через комнату слышно, как звенит в столовой посуда. За окном стоит и будто сторожит дворец ночная тишина. Морозом подувает из окон. Ни охота, ни баня не утомили цесаревну. Сна нет. Мысли то убегают, то возвращаются к тому стыдному и влекущему, о чем ей рассказывала Настасья Михайловна и о чем она только что читала в стыдной, греховной книге. Неужели Купидонова преострая стрела пронзила снова ее грудь. Она вспомнила бандуру, что как гусли звенела в руках ее камердинера и пела ей про любовь... Вспомнила былые утехы в селе Александровском... Странное совпадение – того... Шубина... тоже звали Алешей.

Нет, спать цесаревна не будет... Она встает, надевает дымчатый, гризетовый полушляфрок и сверху накидывает епанчу серебряной парчи на собольем меху. Откинута завеса малинового французского штофа с позументом. Цесаревна медленно подходит к стеклянной двери, ведущей на мраморный балкон у моря. Тихо растворяет дверь. Зимний холод обручем стягивает ей лоб, жжет щеки и бежит под белым теплым мехом к ногам. Слегка захватывает дух.

В серебряном сиянии стоит перед ней полная рождающейся тайны ночь. По мраморным шашкам пола тонким кружевом лег мягкий снег. Цесаревна скользит по нему и идет к балюстраде. Море, ровное и тихое, застыло, как блестящий камень, и исчезает в мутной дали. На двадцать шагов ничего не видно. Чуть сереет вдоль берега прозрачная дымка голых кустов. Крупными звездочками мерно, тихо порхая, сыплет и сыплет первый снег. Вот и зима пришла... Пахнет снегом, морозом, невнятен, нежен и прекрасен, несказанно волнующ тот запах.

Цесаревна долго стоит на балконе. Глаза привыкают к темноте. Снежинки щекочут веки и лежат, не тая, на длинных ресницах. Сквозь них очаровательные радужные звездочки вспыхивают перед глазами.

Как тихо падают снежинки... Как медленно, непрерывно и бесконечно их падение... Куда деваются они, упавая в море?.. Не они ли делают лед?..

Как спокойно прекрасное море... Море ее отца...

VIII

Снег шел еще день и ночь. Цесаревна это время не выходила из внутренних покоев и никого, кроме ближних фрейлин, не видала. На второе утро она проснулась поздно. День уже наступил. Золотом были налиты холщовые занавеси окон. Цесаревна отдернула их. Зима стала на дворе. Лиловое, покойное море дымило белым паром. У берега на песке легло серебряным узором ледяное кружево. Все было бело кругом и сверкало тысячью алмазов на солнце. Цесаревна открыла форточку. Пахнуло первым морозом. За домом веселые голоса раздавались, и звонок и радостен был лай собак.

В мужском охотничьем костюме цесаревна отдавала приказания своей статс-даме:

– Чулкова пошли в слободку к егермейстеру, пусть охотники сейчас снаряжаются ехать со мной в отъездное поле. Полтавцеву скажи, пусть саньми летит во дворец на Дудоровой горе, готовит мне ночлег, возьмет с собой повара и напитки... В Ропшинском дворце к двум часам кашу полевую учинить из курятины... Мне Мумета подать... Из камердинеров со мною ехать Алексею Разумовскому, поседлать ему черкесским седлом Нарсима.

У ворот Монплезира цесаревна внимательно осмотрела Разумовского. В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишневых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.

– Ты, Алексей Григорьевич, охотился ли когда? С коня-то не спадешь? – со спокойной насмешкой спросила цесаревна. – Ежели что, за «спасительницу» хватайся.

– Зачем так фататься, – точно обиделся Разумовский, – як же, не раз и не два с хортами издив. Звисно, дело знакомое.

В прекрасный этот день хохлацко-русский говор Разумовского как-то особенно нравился цесаревне – он так соответствовал его стройной, рослой фигуре, молодцеватой посадке и всей его казацкой повадке.

Легкой, упругой походкой, точно и веса в ней не было, цесаревна подошла к своему персидской породы жеребцу, приподняла, согнув в колене, ногу, лихой стремянный взял ее под колено и, словно перышко, перекинул ее крупное тело на немецкое, малинового бархата седло, прошитое золотыми плетешками.

И только тронулись – красота несказанная раскинулась перед ними. Был весел и точно праздничный, яркий, солнечный день. Бледно-голубое небо висело низко. На горизонте оно затягивалось тонкими белесыми полосами. Мороз пощипывал не привыкшие к нему, еще не обтерпевшиеся уши, нос и щеки. Все сразу разрумянились, помолодели и похорошели. Снег лег ровным пушистым ковром, лошади охотно по нему бежали, прося повода, радостно фыркая и играя.

У выезда из охотничьей слободы цесаревну ожидали бор зятники. По чистой дороге голубой лентой протянулся единственный санный след – то Чулков проскакал готовить ночлег.

Ловчий держал совет с цесаревной, как будет охота.

– Сегодня, – озабоченно хмуря густые брови, говорила цесаревна, – серьезной охоты делать не успеем. Немного в наездку потропим. В уйму[2 - Уйма – большой лес.] и вовсе лазать не станем.

– Верное дело, ваше высочество, – сняв шапку с седой головы, говорил старый ловчий. – Время позднее... Пока до места доедем, а погода... Гляди еще, кабы не замело. Вишь, ветерок какой задувать начал...

– Ну, так, айда за мной... Едем!..

Цесаревна нажала ногами лошадь и поскакала широким галопом по мягкому снегу сбоку каменной дороги. Белые комья ископыти летели из-под ног ее лошади вместе с желтым песком. Охотники неслись сзади. Визгивали радостно собаки. Пестрая сука Филлида опережала Мумета, прыгала к цесаревне и старалась заглянуть в лицо своей госпожи.

В Ропше цесаревна не входила в каменные нетопленные горницы дворца, но приказала принести ковры на двор под большие липы, и на коврах разлеглись все без чинов и званий вокруг большого горячего котла с полевой кашей. Стремянные обносили стаканами с венгерским вином, борзятникам поднесли водки.

Было цесаревне дивно хорошо в кругу своих охотников, таких же молодых, таких же простых, таких же русских, какой была и сама она. Полулежа на ковре, опершись на локоть, она деревянной ложкой черпала варево, вылавливая потроха. Против нее сидел на ковре Разумовский, и цесаревна смотрела с улыбкой на милом лице, как аппетитно он ел, запивая вином из серебряного шкалика. Смешливые огоньки загорались и потухали в глазах цесаревны.

– Ты бандуру взял, Алексей Григорьевич?

– А ни... Нема бандуры... На що мени она. На охоту едем...

– Вечера-то длинные, темно рано становится, вот бы и сыграл что да спел своей цесаревне.

Разумовский смутился. Руками по бедрам хлопнул:

– Экий какой недогадливый, – вскочил с места. – Е, ни!.. Треба було знати!.. Так мы ж то гарненько потрафим. Дозволь, ваше высочество, кого послать пошукать ее дома.

Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал.

За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудергофскими и Кавелахтскими холмами, пошли в равняжку, в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась с атуканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по-казацки к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охотой.

«Славный казак, – думала цесаревна, – ловкий, смелый и, видимо, добрый. И по красе и Шубину не уступит...»

И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым.

У деревни Вилози цесаревна отправила охоту ночевать в Варикселева, а сама с Разумовским и двумя стремянными поехала, огибая озеро, к Дудоровой горе.

Смеркалось. Солнце зашло в серые тучи. Подернутое тонким ледком озеро казалось темным и холодным. Дудергоф, осыпанный снегом, громадным белым ежом вздымался перед цесаревной. Узкая дорога поднималась на гору. С обеих сторон ели и сосны в блестящем наряде инея ее обступили. В лесу стало темно. Цесаревна сделала знак Разумовскому, чтобы он ехал рядом с ней. Их колени касались. Усталые лошади торопливо шагали по скользкой дороге, обрывались на замерзших колеях, и цесаревна невольно толкала Разумовского ногами.

Было совсем темно, и черными тенями показались молодые дубы, Петром Великим насаженные, и за ними желтыми квадратами выявились освещенные окна дворца. Дворец был – двухъярусная бревенчатая изба с наружной галереей во втором этаже. Подле дворца у сарая стояли распряженные сани. Стремянные прыгнули с коней и приняли лошадей цесаревны и Разумовского. Цесаревна вошла во дворец.

Ночью показалось цесаревне, что в ее опочивальне угарно. Она встала с постели. Во дворце давно не топили. Должно быть, поднялся ветер. Через щели медной заслонки голландской печи вырывался сизый дымок. Цесаревна ночевала одна, без фрейлин и горничных девок. Она приоткрыла окно. Сладко кружилась голова – то ли от угара, то ли от выпитого вечером с Разумовским за ужином вина. Цесаревна надела горностаевую шубу и вышла на верхнюю, наружную галерею. Лес глухо шумел. Молодые дубы качались и стучали ветками. Налетела вьюга. Нечего было и думать охотиться завтра.

В затишке двора порхали и крутились снежинки. В мутном свете зимней ночи таинственными казались сарай и конюшни, окруженные частоколом. Мягкий шум леса в старых елях напоминал ропот моря. С ветром пришла оттепель. Таял снег на крыше, и вода тяжелыми каплями упала и с чуть слышным шорохом

исчезала в снеговой вате.

Дверь на конюшне раскрылась. В дымном и мутном красноватом свете показался прямоугольник конюшенного входа. Оттуда вышел человек. Цесаревна сразу узнала Разумовского. Алексей Григорьевич был в шароварах, рубашке и в полушубке, накинутом наопашь, без шапки.

– Алексей Григорьевич, ты, что ль? – негромко окликнула цесаревна.

– Я, ваше высочество, коний ходил проведать.

В ночной тишине голос певчего был глубок и приятен. И то, что случилось, было как молния, вдруг ударившая с ясного неба, без грома прилетевшая от какой-то далекой грозы. Все прошлое – Шубин и страшная непреоборимая скорбь по его утрате, думы о монастыре, волнующий недавний рассказ Настасьи Михайловны – все точно унеслось в бездну, растаяло, как таял снег перед ней, недавней вьюгой отшумело, – точно ничего этого, болезненного, острого и печального, и не было вовсе. Перед нею – ночь с тихим шумом ветра в деревьях, сладостный запах снега, легкий шумок в голове, зябнущее под лаской горностаевого меха все более и более возбуждающееся тело и уже непреодолимое желание счастья, ласки и любви...

– Пожалуй сюда, Алексей Григорьевич.

Разумовский точно не понял. Он подошел к наружной лестнице, ведущей на галерею, и нерешительно взялся за вереву.

– Пожалуй, сударь, наверх.

Заскрипели дубовые ступени под рослым телом. Разумовский прошел за цесаревной в столовую, где на простом дубовом столе горела в медном шандале оплывшая свеча. Цесаревна остановилась в дверях опочивальни. Она томно и призывно улыбалась. И были в ее улыбке те самые ласка и задор, что увидал Разумовский тогда, когда первый раз показалась она ему царевной сказки у качелей села Александровского. Он не верил своим глазам.

На щеках цесаревны повыше губ появились ямочки, маленький рот раскрылся, обнажая блеск ровных, белых зубов, короткий смех прозвенел песней жаворонка. Освещенная спереди свечой в ее неровном мерцании, цесаревна стояла у темной опочивальни. Ее шубка распахнулась. Длинная белая рубашка голландского полотна спускалась ниже колен, мягко огибая высокое, юное, гибкое тело. Полная грудь часто дышала. Был неизъяснимо прекрасен и зовущий томный, грудной голос с новыми, неслыханными, низкими нотами, когда едва слышно сказала она – царица сказки – ему, Иванушке-дурачку, в своем чудодейственном терему:

– Да иди же, когда тебя зовут!..

Одним прыжком Разумовский был подле цесаревны и, охватив сильными, горячими руками ее поперек стана, приподнял и понес, как коршун несет горlinkу, и бережно положил на постель.

– О, чаривниченько моя, – прошептал он и покрыл ее страстными поцелуями...

IX

Цесаревна Елизавета Петровна была зачата в те дни, когда начиналась Полтавская победа, завершавшая долгую и тяжелую войну со шведами, и когда рождалась великая слава российская. Елизавета Петровна родилась 19 декабря 1709 года в Москве. Как и ее старшая сестра Анна, она была незаконной дочерью царя Петра и лифляндской солдатской женки из Мариенбурга, добычи Меншикова, – Екатерины Скавронской. Что до того! В тот день, когда она родилась, с Московского Кремля палили пушки: в Москву, в триумфальном шествии, входили сотни пленных шведских генералов и офицеров и тысячи солдат – Полтавская виктория докатилась до царской Москвы...

Цесаревне Елизавете Петровне шел двенадцатый год, когда 4 сентября 1721 года она подошла утром к окну. Невская ширь у слияния Большой Невы с Малой была в частых белых гребешках, поднятых свежим западным ветром, и в ярких, режущих глаз солнечных сверканиях. По Неве каким-то призраком, сонным видением поднималась, переваливаясь на волнах, с туги надутыми парусами яхта ее отца.

Она ежеминутно окутывалась дымом трех медных пушечек. Дымы вылетали круглыми шарами, точно громадные клубки белой шерсти, и ветер сейчас же разметывал их в длинные, лохматые клочья, которые низко летели над водой. На носу, под узким, треугольным розово-прозрачным в солнечном свете кливером, стоял трубач и в золотую трубу, не умолкая, трубил. Все это было ярко, красочно, не похоже на настоящую жизнь, было точно свежая картина голландского мастера с блестящими красками. Во всем: в пестрой красоте красок, сверкании водной шири, в звуках пальбы и трубных зовов, в запахе моря, принесенном ветром с залива, – чувствовался приближающийся необыкновенный праздник. Все волновало и заставляло сердце трепетать ожиданием. Невские берега расцвелись заполоскавшими и сразу надутыми парусами бесчисленных яхт, лодок, шняв и галиотов. Пестрые лодки с вельможами, генералами, офицерами, с простым народом, кто под парусами, кто на веслах понеслись, полетели за отцовской яхтой к Люст-Эланту, к Троицкому на нем собору.

Мать Елизаветы Петровны заволновалась, засуетилась, забежали денщики, поспешно приодели Елизавету Петровну и ее сестру Анну, подали к дворцовой пристани шлюпку, и все сели в нее. У матери было лицо красное, встревоженное и радостное, поминутно орошаемое слезами. Гребцы торопливо гребли, враз отваливаясь назад, и плескала быстрая волна.

На Троицкой площади уже толпился народ. Сотни лодок непрерывно подвозили новых и новых петербуржцев. Отцовская яхта причаливала в этой массе лодок. На ней, на корме, стоял Петр и, придерживая под мышкой румпель, махал свободной рукой с белым платком и кричал народу на лодках и на берегу: «Мир!.. Мир!..»

Неожиданно, так что Елизавета Петровна испугалась, с Петербургской крепости загремели пушки, им ответили другие от Адмиралтейства и «ба-ба-бах, бах-бах» пошло полыхать и перекатываться по Неве, по островам и по городу.

Елизавета Петровна с матерью и сестрой пробрались к отцу. Он был в необычайном возбуждении и, казалось, никого не видел. Солдаты бежали по площади, нося привезенные на прискакавших подводах доски. Они устанавливали на пыльной площади, у голубого деревянного собора столы и скамьи. Люди стекались со всех сторон и толпились около этих столов и скамей. Торжественный перезвон колоколов раздался с собора, его подхватили другие петербургские церкви и медными зовами напоили свежий осенний воздух.

Вокруг Троицкого собора, как драгоценная оправа, стояли березы в золоте увядающих листьев, за собором шумел густой сосновый лес.

Духовенство прибыло в собор. Елизавета Петровна помнит тесноту и давку в соборе, куда она с матерью едва протолкались, помнит молебное пение, заглушаемое звонами колоколов и пушечными выстрелами, стуком топоров и треском досок на площади. Когда вышли из церкви, на площади уже готовы были столы, скамьи, стояли бочки с вином и пивом и посередине было возвышение, убранное еловыми ветками и пестрыми флагами. Ее отец в преображенском кафтане широкой, могучей поступью взшел на помост и стал на нем – прямой и громадный. Гомонившая на площади толпа стихла. Все головы внезапно обнажились. Ее отец снял шапку, и в мертвую тишину площади вошли его громко и с силой сказанные слова:

– Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что толикую долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, Всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир!..

Особенным, тоже точно и не наяву это было, представлялся в эти минуты Елизавете Петровне ее отец. Громадный, с колышимыми ветром длинными, пробитыми сединой, слегка вьющимися волосами, с прекрасным, возбужденным счастьем полной победы лицом, он принял поднесенный ему серебряный плоский ковш, зачерпнул им из бочонка вина и еще раз воскликнул:

– Здравствуйте, православные!

Лес рук поднялся над головами. Черные шапки, белые платки замахали, заиграли над толпой. Раздались ликующие крики: «Виват!..»– а затем великолепное, из самой глубины человеческих душ исторгнутое:

– Ура!.. Да здравствует государь!..

Мать Елизаветы Петровны рыдала подле, не стесняясь, утирая слезы платком. Кругом тоже плакали слезами радости люди. На глазах отца крупными бриллиантами вспыхнули слезы.

Пускай она была незаконнорожденная... Но она была дочерью такого великого отца...

22 октября того же года – как Елизавете Петровне не помнить этого дня, когда ее мать, все окружающие их близкие люди столько раз рассказывали ей со всеми подробностями все это, – после обедни в том же Троицком соборе оглашали с амвона ратифицированный мирный трактат. Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович говорил красноречивое слово, и когда он кончил, к амвону тесной толпой придвинулись в красных кафтанах сенаторы Сената российского, и канцлер Головкин прерывающимся от волнения голосом начал говорить речь. Эту речь Елизавета Петровна наизусть помнит.

– Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руководством мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены: и того ради, как мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарити?.. Однако ж да не явимся тщи в затор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных Вашего Величества, всех чинов народа, всеподданнейше молить, да благоволите от нас, в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского принять! Виват, виват, виват Петр Великий, Отец Отечества, император всероссийский!!!

Сенаторы и все, кто был в храме, подхватили торжественно признательный крик и трижды прокричали: «Виват!..»

Двадцать полков, только что пришедших из Финляндии, открыли на площади беглый огонь, загремели литавры и барабаны, ударили с крепости пушки...

Елизавете Петровне шел пятнадцатый год, когда 7 мая 1724 года ее мать была коронована императорской короной ее отцом. Может быть, когда-то она и была рожденной вне брака – бастардкой... Теперь она была дочерью Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского и императрицы Екатерины...

Она была цесаревной.

Дитя любви и нарастающего, необычайного, сверхъестественного успеха, она была красива. Ей было около десяти лет, когда придворный художник Л. Каравак изобразил ее обнаженной «во образе Венеры». Она полулежала на мехе горностаевой мантии. В золотистой бронзы назад зачесанных волосах вставлены две розы, детская ручка приподнимает край драпирующей ее мантии. Даже при бедном, скромном и экономном дворе родителей ее наряжали, как куклу. В костюме итальянской рыбачки, в черном бархатном лифе, короткой красной юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами – она казалась картинкой, мечтой, неземным созданием...

Когда ей минуло двенадцать лет, в январе 1722 года, Петр на большой ассамблее, нарочно для этого устроенной, ножницами обрезал ей эти крылышки. Она была объявлена совершеннолетней.

По смерти отца, при матери, и после, во время царствования своей двоюродной сестры, она любила наряжаться и часто носила мужской костюм, особенно шедший к ее высокому росту, прекрасному сложению и стройным прямым ногам. Она была в нем необычайно грациозна и гибка.

Саксонский агент Лефорт писал о ней: «Всегда легкая на подъем, она была легкомысленна, шаловлива и насмешлива. Она как будто создана для Франции и любит блеск остроумия...»

Английский резидент Рондо писал о ней в 1730 году: «Когда я вижу ум и красоту этой молодой женщины, я не могу не сожалеть, зная, как она себя компрометирует, потому что со временем все это будет известно...»

Уже много позднее, когда Елизавета Петровна стала императрицей и ей шел тридцать шестой год, английский посланник лорд Хиндфорд писал 30 ноября 1745 года: «Ваша светлость с трудом можете себе представить, как замечательно идет императрице военный мундир. Я уверен, что люди, которые ее не знают, приняли бы ее за молодого офицера, если бы только не ее прелестное лицо. В действительности у Ее Величества сердце мужчины и красота женщины, и она заслуживает восхищения целого света...» Враждебно относившийся к цесаревне испанский посланник де Лирия называл ее красоту «сверхъестественной». Французские резиденты Кампредон и Лави считали ее красавицей.

Ей было за сорок лет, когда Екатерина восхищалась ее красотой.

Слухи о чрезвычайной красоте цесаревны прошли по всей Европе. Любой молодой принц был готов предложить ей руку и сердце. У ее матери на этот счет были свои виды и планы.

Из своих путешествий царь Петр вынес различные впечатления. Чистота и тонкость знания морского дела в Голландии его увлекли, он восхищался немецкою аккуратностью и бережливостью, но прелесть совершеннейшей красоты он нашел и оценил во Франции, при дворе Людовика XIV. Версаль вскружил ему голову. В Петергофе, создаваемом им на берегу Финского залива, он повторял то, что видел в Версале. Прямые каналы, длинные ряды стройных фонтанов и вместо широкой дали лугов синева морская. Если сам он смотрел все-таки спокойно на Францию и, восхищаясь ею, никогда не забывал Россию, то жене его, Екатерине Скавронской, Франция казалась недостижимо прекрасной, какой-то высшей страной, перед которой надо было благоговеть, преклоняться и сближение с которой было бы необычайным счастьем и для нее самой, и для России. У нее росла дочь, ребенком всех чаровавшая своею красотой, грацией и умом, после «короля-солнце» остался его правнук, ребенок-король Людовик XV. Его носил на своем плече Петр. И не было ли в этом какого-то предопределения?..

В селе Измайловском появилась гувернантка-француженка – мадам Латур, называвшая себя графией де Лоней, за ней появился учитель-француз Рамбур. Елизавета Петровна стала хорошо говорить по-французски, она начала читать ту легкомысленную литературу, которую в избытке поставлял ей Париж. Она умела говорить по-немецки и могла понять и несложно ответить на обращение к ней по-английски и по-испански. Она писала каламбуры и стихи на французском языке, и она с неподражаемой грацией танцевала все танцы того времени. Она могла считаться вполне образованной и могла чаровать в обществе.

Она знала, о чем мечтала ее мать. У четырнадцатилетней девочки, великой княжны, в дорогой шкатулке хранился драгоценный портрет-миниатюра, сделанный художником Буа эмалью. Она иногда носила его на себе. В золотой овальной рамке с крупными бриллиантами, с бриллиантовыми же подвесками, на лилово-сером фоне был изображен прелестный мальчик. Завитые золотистые волосы волнистыми локонами обрамляли нежное лицо и упали завитками на шею. Большие темные глаза смотрели не по-детски серьезно. Он был изображен

в стальных рыцарских доспехах, белоснежное кружево шарфа спускалось ему на шею. Сколько грации, неги и красоты совершеннейшей было в этом образе, приехавшем в Измайловское из далекой, прекрасной Франции!..

Сколько раз рассматривала и целовала тайком этот портрет юная цесаревна, сколько раз сравнивала его со своими портретами или с отражением милого лица в зеркале!.. Голубые глаза туманились тогда мечтой, и кто знает, о чем думала в эти мгновения маленькая русская девочка, незаконная дочь Петра Великого?..

Королева Франции?!

Елизавета Петровна знала, что ее мать тоже думала и хлопотала об этом браке. 11 апреля 1725 года императрица Екатерина принимала на аудиенции французского посланника Кампредона. В те дни, после смерти Петра, в самом воздухе, казалось, носился франко-русский союз. Окруженная придворными императрица подошла к Кампредону и, зная, что тот понимает по-шведски, а кругом никто этого языка не знает, сказала ему по-шведски:

– Для меня лично дружба и союз с Францией приятнее дружественных отношений всех остальных европейских держав.

Она выразительно посмотрела на свою младшую дочь, сопровождавшую ее на выходе.

Кампредон низко и почтительно склонился перед императрицей.

Императрица проследовала дальше, но в тот же день послала к Кампредону Меншикова с прямым предложением войти с представлением к своему правительству о браке Людовика XV с принцессой Елизаветой. Кампредон рассыпался в любезностях и комплиментах по адресу великой княжны и сказал, что все это прекрасно, но... «ввиду того, что Людовик Пятнадцатый король Франции... А король Франции?.. Принцессе Елизавете необходимо перейти в католическую веру»...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Текст печатается по изданию: Краснов П.Н. Цесаревна: роман. Париж: Изд. Е. Сияльской, 1933.

2

Уйма – большой лес.

Купить: https://tellnovel.com/ru/krasnov_petr/cesarevna

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)